

МИХАИЛ ПОПОВ



## ПЕРФОРМАНС

ПОВЕСТЬ

1

— Фру Ульсен!  
— Госпожа Ула!

Подопечные окликали со всех сторон. Каждому хотелось её внимания. И только старик помалкивал, ожидая — иногда, впрочем, и нетерпеливо, — когда наставница сама подойдёт к нему. При этом если большинство студийцев ждало от неё похвалы или хотя бы одобрения, то старик требовал честного, нелицеприятного разбора и даже жёсткой критики.

Ула ставила студийцам рисунок. Не всем подопечным это давалось и было вообще дано. Но у старика на исходе жизни открылись способности.

“Похоже?” — бывало, спрашивал он о портрете, оглядывая ближних к своему мольберту соседей — тут были пакистанец Зуфар, марокканка Камилла, чилиец Пако. “О’кей!” — кивали обыкновенно те либо показывали большой палец: похоже, похоже. А на кого — разумелось само собой: конечно, на их обаятельную наставницу.

На мольберте старика менялись листы, но почти не менялись сюжеты. А если Ула давала свободную тему, его работа непременно сводилась к пейзажу: озеро, луг, лошадь на просторе, стоя уток над речкой, сельский дом, скамейка возле пруда... И в каждой, почти в каждой картинке помещалась женская фигурка с закинутой на грудь русой косой, а то и широкое ласковое лицо.

---

*ПОПОВ Михаил Константинович родился в 1947 году на Русском Севере. Автор двух десятков книг, в том числе прозы, публицистики, литературоведения, книг для детей и юношества. Его работы переведены на ряд иностранных языков, в частности английский. Главный редактор журнала “Двина”. Член Союза писателей России. Живёт в Архангельске.*

Старик так и говорил, что посещает студию исключительно из-за неё: не было бы Улы — он едва ли бы ходил в арт-хаус. Да и Ула признавалась, что привязалась к нему. Когда он запаздывал, поглядывала в окно, спрашивала, не видел ли кто старика. А если он совсем не появлялся, непременно звонила домой.

Что надо старости? Немного внимания. Выслушать, посочувствовать, коли неможется, посоветовать чего, чаю, например, горячего с лимоном да мёдом — продуло, видать, — да укрыться потеплее, да поспать, а там, глядишь, недомоганье и отступит...

И ведь верно. Проходило дня три-четыре, как старик вновь появлялся в студии. Его встречали улыбками и приветствиями. Смущённый вниманием, он проходил в свой угол и вставал к мольберту. Студийное пространство, воздушное и светлое, с его появлением обретало законченный вид, словно перелётный клин вновь обретал жоака. Так это подразумевалось, так воспринималось со стороны.

А что старик? Старик был не настолько дряхл, чтобы тетешкаться лаврами патриарха. Он мягко переводил всеобщее внимание на Улу: это ей слава и благодарность, это она, кудесница, подняла его. А однажды объявил, что голос Улы обладает целебными свойствами и, сопровождаемый ощущимой даже на расстоянии улыбкой, действует самым благотворным образом.

Ула на это, конечно, улыбнулась — кому же не приятны такие комплименты! Догадку о телепатии не исключила, но перевела всё на другое, тем самым приглашая подопечных к разговору: может, когда-нибудь человеческий голос будет обращён в краски, и вы, Лион, и вы, Терезия, своими речевыми сигналами, голосовыми модуляциями, артикуляцией станете рисовать живописные полотна; не красками акварельными да масляными, не пастелью или фломастерами, как мы с вами, а словом. А потом — и мыслью, подхватил кто-то из студийцев, кажется, ливанец Зулейя. Да, и мыслью, поддержала Ула и перевела глаза на старика: а как он на это смотрит, как ему эта идея?

В глазах старика не возникло особого оживления. Но не потому, что ему так уж не нравилась сама мысль о превращениях мысли. Нет. Просто она уводила куда-то в будущее, к которому он, старик, в земных пределах уже не имел особого отношения. А главное, она лишала его сокровенного общения.

Старик был убеждён, что из всех студийцев более других имеет право на внимание Улы, особенно после болезни. Это вроде как некие отступные за пропущенные дни. И потому если и не отстаивал напрямую это право, то косвенно давал понять... Переминаясь у своего мольберта, он поводил плечами, словно ему был тесен светлый вельветовый пиджак или колот шерстяной джемпер, иногда побряхтывал, словно напоминая о недавней простуде, а то и косился назад, открывая крыло седой брови — знак, означающий предел терпения.

По правилам арт-хауса, установленным магистратом, фру Ульсен должна была распределять урочное время поровну между всеми подопечными независимо от возраста, пола и национальности: “Толерантность — превыше всего!” Таким образом, на каждого студийца полагалось примерно десять персональных минут. Это если не считать вводных объяснений. Однако так уж выходило, что старику уделялось всё же больше внимания. Чтобы как-то сгладить это неравенство, Ула намеренно выдерживала паузу, медленнее, чем обычно, поворачивалась и медленнее, чем всегда, направлялась к его мольберту. Казалось, она точно знала, сколько можно испытывать стариковское терпение.

И ещё. Со всеми учениками Ула говорила по-норвежски либо по-английски, а со стариком — только по-русски, потому что они были соотечественниками. Улюшка или Уля, а то и Ульяна Тимофеевна, в особых случаях “дочка” — обращался к ней старик в зависимости от настроения или важности текущего момента. Она коротко окидывала его работу, легко касалась карандашом листа, делая грифельные поправки, а то перехватывала цилиндрик пастели... И говорила. Вернее, слушала и говорила. И он слушал и говорил. Не важно, о чём: о его пейзаже, о красках и кистях, о дожде за ок-

ном, о берёзовом листе, который прилепился к стеклу, как мазок кисти сударьни Осени... Главное, по-своему, на родном языке. Ведь именно этого им больше всего и не доставало посреди райской чужбины.

Пётр Григорьевич целыми днями дома один. Дочка возвращается с работы вечером, у неё начинаются хозяйственные хлопоты: покормить детей, обиходить мужа, ей не до отца. Внуки — их двое — по-русски говорят плохо. Не говоря уж о зяте, коренном норвеге, который к тому же долго работал в Америке.

Схожая ситуация и в семье Ульяны. Муж Йон по-русски знает только три слова: “спутник”, “водка” да ещё “балабайка”. А дети её, русские, рождённые в России сын и дочка, всё меньше говорят по-русски, не видя в том большой нужды, особенно дочка...

Ульяне достаточно было родной речи. Был бы собеседник, а предмет разговора не имел особого значения. Главное, чтобы слова не падали в пустоту. В начале своего здешнего бытования, оставаясь днями одна, она пробовала говорить сама с собой. Однако вовремя спохватилась, поймав себя на мысли, что делает что-то запретное и даже небезопасное. И, повинаясь природному инстинкту, такие попытки оставила.

А Петру Григорьевичу в диалоге важен был смысл. Он не то чтобы всё переводил в практическое русло — они с Ульяной беседовали и о природе, и о музыке, и, само собой, о живописи — как без этого в художественной студии! — но между тем старик постоянно давал житейские советы и наставлял её. Особенно его беспокоили Ульянины дети. Собственные внуки, родившиеся в Норвегии, ничем не отличались от здешних сверстников. А будущность детей Ульяны, чисто русских, оказавшихся на чужбине в начале жизни — Лариска в отрочестве, а Серёжка в подростковом возрасте, — его тревожила. Родные корни обрублены, здешние — слабые, примутся ли они в чужой почве? Человек от земли, крестьянский сын, Пётр Григорьевич и рассуждал по-земному.

К разговору русских, точнее, говору-диалогу, в студии прислушивались, причём не только ближние по месту. Студия заметно стихала, разговоры если не смолкали, то сводились к шёпоту. И даже оплывшая и весьма неуклюжая мулатка Нэда, которая постоянно роняла кисти и карандаши по причине артроза, и та подбиралась.

При всей прозрачности скандинавских границ русские в норвежской глубинке, маленьком городке — на карте точка в восклицательном знаке приполярного фьорда — были всё же наперечёт. Застать местных русских за своим разговором было просто негде: в магазинах и муниципальных службах они объяснялись, пусть порой и худо, по-норвежски. Русские рыбаки, сдававшие улов на местной фактории, были малоразговорчивы — им было не до общения. Приезжие из России, главным образом молодые люди на крутых тачках, мало чем отличались от горластых сверстников из Польши, от хамовато-чванливых америкосов. Другое дело эти двое — широколицая, курносая художница с русой косой и седой старик, немного похожий на Санта-Клауса. Их речь, её паузы и взлёты, их мимика и жесты вызывали в студийцах, людях в большинстве своём тоже нездешних, любопытство, а у кого-то, не исключено, и ностальгические чувства. Ведь иные из них невольно вспоминали русскую классику — Толстого, Достоевского, Чехова, которых читали в колледже или гимназии. И, конечно, не столько русская реальность всплывала в их воображении — где её, эту Рашу, понять?! — сколько свои полубытые детские переживания, картины отроческих лет, которые при всех слезах и тревогах, сопровождающих бегство с родины, всё равно ласкают сердце и душу.

Больше того, у некоторых студийцев тут было не просто любопытство. Иные из них помимо художественной студии посещали ещё и драму, которая располагалась здесь же, в арт-хаусе. На социальные да эмигрантские события было, конечно, не разгуляться, но заниматься в бесплатных творческих коллективах право давалось всем. Вот многие и пользовались этим. Театральная труппа ставила Чехова. Как они там играли, Ульяна не видела. Но одна студийка, звали её Эле — полное имя Элефтерия, — подошла как-

то во время кофейной паузы и, сверкая чёрными глазами, выразила слова благодарности. Эта гречанка, наследница классического античного театра, играет роль Раневской. Недавно она внимательно прислушивалась к диалогу фру Ульсен и Санты (“Наполовину они, стало быть, возвели старика в Деда Морозы”) и на очередной репетиции попыталась услышанное воспроизвести, разумеется, не смысл — где там! — а тембр, ритм и тональность речи фру Улы. В итоге Ларсу, режиссёру драмы, так понравилось, что он её, Эле, похвалил и посоветовал и дальше брать эти нечаянные уроки, заключив, что именно в речи, в её напеве, и таится загадка русской драмы.

Какой же эпизод, интересно, запомнился гречанке? Ульяна поделилась услышанным со стариком. Путём сопоставлений и переборов они пришли к выводу, что тогда она рассказывала о старшей сестре. Наложившая запрет на воспоминания, да и на всё своё прошлое, Ульяна едва ли не впервые за годы эмиграции приоткрыла краешек детства и чуть-чуть поведала старику о родной душе.

Раиса, большуха, была ей заместо матери. Мать на ферме, садика в деревне нет — кому водиться с младеней? Возились все. Но больше всех песталась с нею Раечка. Ей было уже лет четырнадцать, когда родилась младшая. И как ни вспомнишь — все ранние годочки только с ней. Раечка и кашку сварит, и волосёнки приберёт, и чулочки заштопает, и спать повадит — придёт пора. Всё она.

Летом, когда мелела река, детвора, бывало, норовила попасть на кулиги — пески, которые открывались посередке широкого русла. Путь к заветному месту лежал через омут. Раечка усаживала младшую на закорки и подходила к урезу. Омут обрывистый. Шаг-другой — вода уже по пояс, ещё один — уже по грудь. Ещё — пяточки Ульянки уже достают поверхности. Ульянке щекотно, она повизгивает. Ей не видно лица сестры. А Раечка в смятении, ей страшно — вода уже по горло. Шагать вперёд? А вдруг ещё глубже? Поворачивать назад? А ну как яма!

Так она рассказывала Ульяне уже потом, годы спустя, делясь давним страхом. А Уля и не ведала того. Ей было весело, когда они перебирались на кулиги, она не сознавала опасности, сидя на крепких, как тогда казалось, плечах старшей сестрицы.

Возвращаясь мыслями к театру, Ульяна не раз улыбалась: надо же как аукнулось?! Она даже причёску стала менять: то закалывала кольцом на затылке, то воздымала короной. А однажды, остановившись возле старика, сказала вслух:

— Представляете — Раневская! Никогда бы не подумала, — и без перехода к нему: — В таком случае вы, Пётр Григорьевич, не иначе Гаев.

На сей раз её волосы были распущены по плечам и завязаны на спине. Так она подчас “зашторивала” свою “славянскую луноликость”, доставшуюся от рязанского папушки.

— Гаев? — старик оторвался от мольберта и коротко на неё взглянул — он не одобрял внешних перемен. — Кто это?

Безучастность в голосе была нарочитой. Ульяна смолчала. Увлечённо работавший аквамарином, старик творил небо, которое ласково опускал на родной пейзаж: приземистые избушки, журавль над колодцем, стога сена за околицей...

## 2

Старик очутился в эмиграции на исходе жизни. Он знал, что в Норвегии у него есть родственники. Это были дети его родного дяди — старшего брата отца, по профессии моряка, который после революции остался в Христиании. В прежние поры связи с ними не было. Но с переменами в России они, его двоюродники, дали о себе знать. Письма, подарки, потом обоюдные визиты, естественно, сравнение уровней жизни, и незаметно в новом семейном кругу возникла мысль о переезде. Пётр Григорьевич поначалу и думать о том не желал — с какой стати! Но тут случилась беда: заболела жена, обнаружился рак. Решено было везти её на лечение в Норвегию. Стали

оформлять визы, а она умерла — сгорела за два месяца. Остались Пётр Григорьевич с дочкой одни. Как жить дальше? Роза вызрела для замужества, все сроки уж, кажется, вышли, а там, у них, намекали родичи, есть перспективы. У старика перспектив не было. Зато у обоих уже имелись выездные документы. И однажды — чего не сделаешь ради любимого, к тому же единственного чада! — он согласился.

“Где были мои глаза? О чём думала эта старая голова?” — теперь постоянно корил он сам себя, вызывая у иных, чаще тоже приезжих, сочувствие, а у других — недоумение.

Однажды художественная студия отправилась на пленэр. Старик сидел на переднем сиденье автобуса рядом с Ульяной. Автобус проезжал мимо кладбища. Пётр Григорьевич насушился, стиснув этуодник:

— Матушка померла в России, батька сгиб в Германии, а меня, видать, затолкают здесь, в эту землю.

Его “крамольные” речи доходили до ближних соседей, а от тех — до родственников, которые сманили старика. Кто-то из них сочувствовал его переживаниям, но большинство родичей, здесь родившихся, и ближние соседи, коренные норвеги, пожимали плечами.

Всё это не могло не беспокоить дочь. Ладно, если кто-то принимает ностальгию старика за старческую причуду, за блажь чудака, сиречь городского сумасшедшего и даже маразматика, хотя и это неприятно. Но ведь большинство-то всё слышит буквально и оценивает адекватно: старику не нравится ухоженный Запад, ему милее бандитская Россия. Это не может не сказаться на репутации их порядочного семейства, а что ещё неприятнее — на престиже семейной фирмы.

“Что! — вскипел старик в ответ на попрёк дочери, что он отваживает потенциальных покупателей от супермаркета её мужа. Муж Розы Юхан долгое время жил в Америке, скопил денег и открыл на родине продажу унитазов. — Из-за меня они откажутся от его говённых горшков?! Под куст начнут бегать? Не смейся меня!”

Так, обходя некоторое неблагозвучие, Роза делилась с Ульяной своими переживаниями. Она специально зазвала в гости соотечественницу, чтобы поговорить с нею об отце. Он очень уважительно отзывается о вас, добавила Роза. А перед этим помянула, что отца вместе с мужем и детьми отправила в их семейную вотчину — рыбацкий дом на берегу дальнего озера.

Роза была немного моложе Ульяны. Лицом не очень привлекательная, явно не в отца, она подкупала энергичностью, расторопностью, какой-то отточенной чёткостью движений и жестов. Оказалось, что в юности она много занималась спортом: плавала, играла в регби, гоняла на коньках. Оттого у неё такие широкие плечи и крепкая мускулатура. Зато теперь она успешно трудится в семейной фирме — в фирме, а не в магазине, подчеркнула она, — выполняя обязанности менеджера по продажам, а заодно, если требуется, и грузчика, благо умеет управляться с автокраном.

Сначала Роза угостила гостью кофе. Попутно показала коллекцию антикварной голландской посуды — это увлечение мужа. Потом поводила по дому, называя иногда стоимость убранства и дорогой отделки, на опытный взгляд художницы — несколько аляповатых. И, наконец, пригласив на второй этаж, провела в отцовскую комнату.

Ульяна при виде обители старика почти не удивилась, чего, судя по всему, ожидала дочь. Ведь она пригласила её, чтобы разделить с нею свою озабоченность. Все стены просторной комнаты были увешаны теми самыми пейзажами — акварелями и пастелями, которые он рисовал в студии. Только здесь они чередовались с увеличенными фотографиями, видимо родных мест, и репродукциями с картин русских классиков, главным образом передвижников. Здесь были Шишкин, Поленов, Васнецов, Суриков...

Чуть дальше Ульяна задержалась возле пейзажа Куинджи: чёрная туча — задний план и солнечный луг — передний. Кажется, “После дождя”. Где вы, Пётр Григорьевич? Здесь, на солнечной стороне? Или там, во мраке?

А ещё, глядя на оформление комнаты, Ульяна подумала о себе: а могла бы она позволить такое — развесить в своей комнате русские пейзажи?

В принципе-то, конечно, могла: едва ли Йон стал бы возражать против классической живописи, повешенной в своём, а теперь и в их с Серёжкой и Лариской доме. Но для себя заключила, что нет. И после, уже дома, облекла эту мысль в какую-то не то китайскую, не то японскую формулу: бабочка, которая сядет на цветок, не нарушит пейзажа и натюрморта, если они пишутся маслом; но акварель человеческих отношений настолько зыбка, что может поплыть от любого, даже незначительного, прикосновения.

Ульяна так сосредоточенно всматривалась в обитель старика, словно искала ответ на какой-то вопрос, то ли уже поставленный жизнью, то ли ещё предстоящий. Роза же сведённые брови госты истолковала по-своему:

— Вы меня понимаете... — И без перехода: — Ну вот что ему, кажется, надо! В тепле, в холе, сыт, одет-обут. Заботушек никаких. Живи да радуйся, а он всё назад оглядывается.

В контексте этой оглядки, судя по тону, оказалась и литературная классика. Хотя вторая половина следующей фразы произносилась вроде даже с гордостью — дескать, и мы не лыком шиты.

— Понадобился ему как-то Чехов. Подай — и всё! А где здесь на русском-то?.. Пришлось заказывать через интернет — в сети Московской книги. А ведь это расходы!

Концовка фразы вильнула опять не туда. Роза тут же спохватилась, дескать, это, конечно, не главное: лишь бы отцу потрафить. В этом её, дочери, долг. Да и элементарная справедливость того требует. Ведь отец тоже вносит вклад в семейный бюджет.

— Пенсия здешняя — будьте нате! Ровесники его в России и трети того не имеют.

Это был главный аргумент Розы в пользу здешнего житья, и она его подобающим образом обставила, ещё раз посетовав на “капризы” отца. Попутно отметила, что российскую пенсию Пётр Григорьевич перечисляет в детский дом, куда попал после кончины матери, это было сразу после войны. А заодно пожаловалась, что за финансовыми своими делами отец не следит, приходится постоянно напоминать:

— Там дают пособие, здесь — компенсацию, сходи — не проворонь. Нет, пока не ткнёшь, не заставишь — не скрянется.

Слово из русского далека вывернулось случайно, видать, унаследованное от отца или матери. Скрянется — не скрянется. Может, потому и отложилось в Ульяниной памяти.

### 3

Просьба Розы поговорить с отцом совпала с мыслями самой Ульяны. Она давно собиралась это сделать. Да всё как-то не находила повода. Вернее, даже не повода — подвожки к разговору. Чтобы это было не в лоб, а исподволь, может быть, облечено в какую-то художественную форму. А поводов было куда как достаточно.

Вспомнить хотя бы самое начало — первое время пребывания в новой стране. Она только-только устроилась на службу, став преподавателем рисования, и несказанно радовалась. Радовалась и месту пребывания, и своему новому дому, и всему тому, что с нею и с детьми произошло; она и детям внушала эту радость, хотя они и без внушения это воспринимали. А Пётр Григорьевич — новый знакомец и соотечественник — вместо того, чтобы эту радость с нею разделить, вдруг огорошил. Да ещё как!

Из студии им со стариком было по пути. В тот раз к ним присоединился Серёжка — он после гимназии занимался баскетболом. По дороге Ульяна забежала в банк, оставив сына на попечение старика. Конечно, опеки Серёжке уже не требовалось, чай, не маленький, да и обвыкся уже на новом месте. Но таково уж материнское сердце: всегда хочется, чтобы за дитём, даже и великовозрастным, был догляд. Вот и на этот раз так получилось. А вернулась и пожалела, что отлучилась.

Ещё издали она увидела, как Пётр Григорьевич жестикулирует. Так он поводит руками, когда рассуждал о чём-то важном. А самым важным, в чём

Ульяна уже убедилась, для него была оставленная Родина. Вот, видать, и Серёжке он о том твердил, Ульяна не ошиблась — концовка разговора, которую она уловила, не оставляла никаких сомнений.

“Были бы помоложе, — говорил Пётр Григорьевич, — рванул бы к лешему обратно. Хоть пешком, хоть на карачках — домо-о-ой...”

Ульяна сделала вид, что ничего не слышала, но детей наедине со стариком больше не оставляла: а ну как и они заболеют этой явно неизлечимой болезнью под названием ностальгия.

Впрочем, это больше касалось Сергея. Ему не досталось ни отца, ни деду, вот он и тянулся к Петру Григорьевичу. А Лариска и сама избегала старика после того, как он однажды обругал её.

Тринадцать-четырнадцать лет — подростковый возраст, у них в эту пору всё наперекосяк: не слушаются, грубят, подчас хамят и при этом вечно чего-то требуют. И тут, как убеждает доктор Спок, необходимо терпение и ещё сто раз терпение. Главное, не сорваться, не попасть на встречную волну, перевести разговор на другое, отшутиться, поставить в тупик — мало ли способов нейтрализовать “пубертатную атаку”. Ульяна хорошо усвоила уроки доктора Спока. И ещё одно, что помогает утихомирить бурю в стакане воды, — это она уже вывела сама — всё должно происходить без свидетелей. Тут у них с дочкой был негласный уговор. О таких перепалках-перехлестках не знал даже Серёжка, не говоря уже об Йоне. Боже упаси! Это случалось где-нибудь на улице, в тихом уголке арт-хауса или дома, когда оставались с нею наедине. Но в тот раз Лариска нарушила заведённое правило...

То, что старик, ставший невольным свидетелем “пубертатного взрыва”, осадил подростковое хамство, было в принципе справедливо. Заслужила. Но то, какими словами, каким тоном он это сделал, было для Ульяны неприемлемо, а как матери казалось просто чудовищным. Это ведь не детдом, где он испытал на себе уроки доморощенной педагогики. Здесь Европа, здесь исповедуют толерантность и независимость.

Досада на Петра Григорьевича долго не отпускала Ульяну. Первое время после того она сторонилась старика, избегая даже в студии посторонних разговоров, а он, чувствуя её охлаждение, тогда серьёзно заболел. Вот ведь как обернулась та его резкость и несдержанность.

С тех пор минуло два года. Острота конфликта сгладилась. Однако, вспоминая подчас ту сцену, Ульяна и сейчас передёргивала плечами. Не дай Бог испытать то, что осталось, кажется, в далёком прошлом.

Эти мысли невольно приходили на ум, когда Ульяна готовилась к предстоящему разговору. Однако предъявлять тот эпизод, тем паче заводить с него задуманное было, конечно, неразумно. Больше того, Ульяна почувствовала, что личные, какие-то частные доводы при таком разговоре будут неуместны. Пётр Григорьевич сразу поймёт, откуда ветер дует. “Рука Брюсселя” или даже “рука Уолл-стрита” — так он называет то, что внушает ему его практичная и педантичная дочка, настраиваемая американизированным мужем.

Повод возник сам собой. У старика не выходил небесный цвет. Он явно терял зрение, но, не желая признавать этого, искал внешние причины. Сейчас он сетовал на освещение. Ульяна недоумённо поджала губы: здесь, при этих-то широченных окнах?! Старик показал глазами на потолочные плафоны: дело в них, мешают они. И вдруг без перехода стал склонять на все лады современную архитектуру. Дескать, в ней нет души — лишь самодовольство авторов; пыжкаты, изощряются, выпендриваются один перед другим, а о человеке, который окажется в таком здании, совершенно не думают. Тут досталось и арт-хаусу, и его архитектору — этому штукарику, как выразился Пётр Григорьевич.

Старик явно брызжал, видимо, терзаемый недоумением. В другой раз Ульяна смолчала бы. Зачем усугублять ситуацию?! Может, даже как-то успокоила, отвлекла. Но тут не сдержалась, не смогла. Ведь он посягал на то, что ей было дорого.

Архитектор, который понастроил по всему свету такие дворцы — гнёзда искусств, был, безусловно, гений. Изящная, приподнятая над землёй форма, огромные, во все стены, окна, дарящие массу света, — сказка! Плафоны же

эти золотистые — просто чудо! Кажется, они аккумулируют солнечный свет, а в пасмурный день возвращают его. Да что в пасмурный — в полярную ночь они так искусно пятнают изумрудный пол, что кажется, будто идёшь по солнечным полянам, даром что зима.

А старик упорствовал, не соглашался. По инерции перечит, догадывалась Ульяна: нашло на него, а отступать не привык, вот и спорит. Разговор затягивался. На очередном повороте возник образ болотины. Старик сравнил плафоны с икраной ряской — плодильней для лягушек. Ульяна вскинула брови: немного похоже. Но отозвалась шуткой:

— Знала я одну лягушку, которая подобрала стрелу и из болота в царский терем перекочевала...

— А я другую знавал, — с вызовом парировал старик. — Не то на стреле, не то на хворостине полетела она за тридевять земель киселя хлебать, а потом... о землю шмякнулась.

#### 4

На следующем занятии, уже ближе к концу, Ульяна предложила Петру Григорьевичу индивидуальное задание.

— Посмотрим, как вы воспринимаете полутона, — пояснила она, учитывая сетование старика на недостатки освещения. А для проверки извлекла большой альбом русских передвижников, который приобрела в Осло, куда они всей студией ездили в музей Эдварда Мунка.

Коснувшись закладки — здесь был тот самый пейзаж Куинджи, — Ульяна открыла альбом и отошла. Пусть старик сосредоточится, вживётся в репродукцию, печать тут отличная, не чета той, что у него дома, а она тем временем проводит подопечных.

Разговор Ульяна собиралась завести издалека. Полутона — повод, главное — в другом. Но тут важно не сбиться, не потерять нить. Опорой для неё станет эта картина. Всё будет кружиться вокруг пейзажа. А о главном она скажет так: её, Ульяны, нынешняя жизнь, жизнь её детей, жизнь Розы и других здешних русских — это передний план, луг, осиянный солнцем, а прошлое — это задний план, та мучительно-тяжёлая грозовая туча; ну зачем им туда?

Ульяна тщательно выверяла все позиции — и тональность, и последовательность доводов, и акценты, и даже возможные паузы. В разговоре всё важно. Однако, как ни готовилась, как ни настраивала себя, ничего-то у неё не вышло, старик сбил все планы, причём как! — используя её же главный козырь — картину. Смотрите, не будь этого густого мрака, убеждал он, этого грозового фронта — солнечная идиллия на переднем плане так бы радостно не сияла.

Старик говорил сначала медленно, буднично, как судачат о повседневных вещах, даже с натугой, — видать, нездоровилось. Но постепенно, всё более оживляясь, начал жестиковать, смахивать со лба седые пряди, оправлять усы, ворошить бороду — так, как делал это, когда твердил о самом главном. А ведь это, в сущности, и было сейчас для него самым главным, потому что картина являла образ Родины.

— Согласитесь, — убеждал он, не сомневаясь, кажется, что она никуда не денется и согласится, — “После дождя” — это не только сейчас... Это и о прошлом... Без этого прошлого ничего нет и не будет. Оно живёт в каждой травинке. Потому что травинку питают корни, а корни — в почве...

Тут старик коснулся переднего плана, провёл указательным пальцем по заболоченному ручейку и неожиданно заключил: ломкий ручеёк — это образ погасшей молнии; она не исчезла совсем; растаяв в небесном мраке, она будто пала на этот луг; пала, преломилась и осталась в ручейных бликах.

Ульяна молчала. Ей отчего-то было стыдно. Вспомнилась Раневская, образ которой она примеряла на себя... Глаза её отуманились, живо наполнились, и, чтобы они не пролились, она закусила губу и обхватила себя руками, пытаясь сосредоточиться на солнечной луговине. Увы! Всё, что ещё недавно так радовало её: и это сияние трав, и этот ласковый ручеёк, и эта



пасущаяся лошадь, и хуторок на холме, так похожий на здешние фермы, — всё это слилось в одно жёлтое невыразительное пятно. А ещё вспомнилась Лариска, которая всё больше отбивалась от рук, а она, мать, ничего не могла с нею поделать.

\* \* \*

Сеанс психотерапии, как потом иронизировала над собой Ульяна, гоня досаду, не задаясь: Пётр Григорьевич не услышал её. О том, что может быть наоборот, она тогда ещё не думала, вернее, старалась не думать, ведь и Пётр Григорьевич не убедил её.

Спустя неделю Ульяна проходила мимо социального департамента, и тут припомнилось словечко, обронённое Розой. Не скрянулось с одним, так, может, скрянется с другим, шутя переиначила она услышанное и решила хлопотать о пособиях. Ведь её ученики работали в самых разных сферах, в том числе и в социальной.

Тут результат оказался действительно убедительнее, причём сказался вскоре. Роза, с которой они столкнулись в супермаркете, едва не кинулась Ульяне на шею. Проведённая с отцом беседа — а дочка не сомневалась, что таковая была, — пошла явно на пользу.

— Папа, — Роза подняла палец, — сходил в соцбихандлинг...

Название учреждения Роза произносила на свой лад. Ульяна улыбнулась, ей вспомнился один знаменитый писатель-эмигрант, который по этому поводу сказал в телепередаче так: “Русские, где бы они ни находились, казённые палаты называют как им заблагорассудится. Даже если прилично изъясняются на языке страны пребывания. Таково свойство менталитета — дистанцирование от властей. Это у нас в крови”. При этом печаль в его тоне мешалась с затаённой, не утраченной на чужбине гордостью.

— Так вот, в соцбихандлинге, — продолжала Роза, — отцу выделили пособие на одежду и обувь аж в полторы тысячи крон. Представляете?! — Радость она тут же слегка пригасила: — Деньги для нас, конечно, не большие. Но всё-таки... Опять же кстати. Повезу папу в столицу — ежегодное обследование, а это, сами понимаете, расходы...

Роза поминала ещё про одну льготу, которую посулили старику. Говорила что-то ещё. А Ульяна только улыбалась. Много ли человеку надо, пусть не для счастья, так хотя бы для радости?! Ведь это тоже немало.

## 5

А своё счастье Ульяна не девальвировала, не понижала до уровня радости. Её счастье было полноценным и полнокровным, каким и должно быть счастье любящей и любимой женщины, у которой есть муж, дети и тёплый дом.

Ощущение счастья сопутствовало Ульяне все здешние годы. Трудности, конечно, бывали и бывают, как без них. Но в сравнении с теми, что она испытала на родине, здешние выглядят пустяками. Ну, а взгрустнётся, накатит нечаянная печаль, так управа на неё найдётся. Стоит лишь заварить кофе и — прощай, грусть! — в пику Франсуазе Саган. Чудо не чудо, но аромат изысканного восточного кофе и был для Ульяны тем праздником, который всегда с тобой. Этот аромат, как по волшебству, мгновенно переносил её в осеннее утро того удивительного года, когда она проснулась в раю.

Первое, что она уловила тогда, потянувшись и ещё не разомкнув глаза, был этот чудесный запах. Наверное, аромат кофе, доносившийся в спальню, и был тем незримым колокольчиком, который разбудил её. Она сладко потянулась и, как писалось в одном женском романе, прочитанном в качестве инструктажа по дороге в рай, “ощутила каждой жилочкой трепет бытия”. Потом донеслась тихая музыка. Труба Эллингтона выводила прятный “Караван”. В утреннем сумраке, напоминающем мираж, возник Аладдин. Как и подобает Аладдину, создателю райских куш, он был облачён в долгополюй бухарский халат, голову его венчала чалма, на ней гнезился серебряный поднос, а на подносе стоял изящный, источающий аромат кофейник.

В те минуты, честно признавалась себе Ульяна, она забыла даже о детях. Да, о своих собственных детях, которые остались в России, где тянулась бесконечная смута, шли стычки, завивалась голодуха, она в те минуты не вспоминала, до того была поглощена новыми ощущениями и впечатлениями. А картина, возникшая на рассвете — знойный “Караван”, Аладдин, аромат кофе, — стала для неё знаком счастья, её путеводным талисманом. Она сопровождала Ульяну все её чужестранные годы, и стоило чуть загрустить, подумать о чём-то далёком, но утраченном, она тотчас выводила на дисплей своего воображения эту картину, и перед нею всё меркло, уходило, как с монитора, в состояние сна, почти небытия. А оставалось только это: восточный рай на широте Полярного круга — и она вдвоём с Ионом.

Она и он, Ула и Йон. Это она так тогда рифмовала. А потом зеркально перевела его имя: Ной. Библейский Ной по воле Божьей был спасателем. Спасся от грехов сам и спас праведностью свой род. Йон тоже был спасателем — потомок викингов-мореходов, прямой и сильный, он служил в морской спасательной инспекции. Фантазия забурлила. Первое, что пришло в голову, само собой, — ковчег. Своё гнездо они так и назвали. А потом придумали и дальнейшее. Когда потоп схлынул, все пары чистых и нечистых покинули пристанище и расселились по суше. А Ной остался в ковчеге, сделав его домом. Но не один, а с женой. Ведь, по Библии, она была, правда, непоименованная. И тогда уже Йон прибег к зеркалу, назвав жену Ноя Алу.

Две недели счастья определили всю дальнейшую жизнь. Потом Ульяна съездила за детьми. Серёжке было тогда тринадцать, Лариске девять. Дети способные, неизбалованные, они без особых усилий прошли подготовительный языковой период, живо освоили норвежский язык, через год вышли по всем школьным предметам в лидеры и, больше того, их даже ставили в пример местным детям.

Нет, Пётр Григорьевич, твердила про себя Ульяна, я теперь на лугу, на солнечной стороне, а в тот мрак мне не надо, ни к чему, и не напоминайте лучше...

Наивная Ульяна! Прошлое ведь не снаружи. Его не сбросишь с рук, от него не убежишь. Оно внутри тебя. До поры о нём не вспоминаешь, как не замечаешь в молодости собственного сердца. Но придёт час — сердце вспучится донным пузырьём и, возносясь под горло, напрочь разобьёт гладь твоей безмятежной жизни, которую охватит долгая и мучительная дрожь. Так случилось и с нею.

Вспомнилось однажды Ульяне, как она рожала и как родила дочку. Оно, конечно, и так никогда не забывалось, стоило коснуться рубцов от кесарева сечения. Но столь остро, так болезненно, возвращая прошлое со всеми потрохами, прежде не вспоминалось. Никакой аромат кофе, сколько ни пила, не смог выветрить ту память. Не гас тот дисплей, как ни давила она на невидимые клавиши. Казалось бы, зачем? Ведь вспоминалось-то не абы что, а как дитя родилось, пусть и в мучениях. Вспоминай да утешайся, вновь переживая то мгновение, когда увидела сморщенное личико новорождённой. И удивление, и облегчение, и недоверие, и гордость... — чего там только нет, что сливается в одно слово “счастье”. Так-то оно так. Да только счастья того было с гулькин нос. Вслед за умиротворением, что всё обошлось и ребёнок — слава Богу! — родился здоровым, без видимых изъянов, навалилась прорва забот. Это может понять только тот, кто испытал такое: мать-одиночка с двумя малыми детьми, и рядом никакой бабки-бабарихи, золовки или свекрухи, одна-одинёшенька.

То время голосило воем волчицы. Чтобы не потерять молоко, надо было соблюдать режим и правильно питаться. А на какие шиши? В художественной школе, где преподавала, декретных выдавали крохи. Не успела отлежаться, “зализать раны” — пришлось искать приработок. Вечерами мыла в конторах и учреждениях полы. С дочкой на руках, с сынком за ручку и — по двум-трём адресам за вечер. Руки сбитые, в занозах, от воды распухали, кожа шелушилась и трескалась. Подчас было невмоготу, подступало отчаянье, закишали горячие слёзы. Чтобы — упаси Боже! — не потерять молоко, колола себя иголками, не ведая, что оно могло пропасть и от этих отчаян-

ных укулов... Потом у дочки обнаружили признаки рахита. Тряслась над ней день и ночь. Где бы соку свежего, фруктов, где бы питания нужного раздобыть... Всё — на неё, с себя последнее продала. Зимой в демисезонном пальтишке бегала, ещё студенческим, да в ботиночках на рыбьем меху. Само собой, простыла. А лечиться когда? Всё на ногах. В двадцать пять уже сердце почувствовала... А к этим её двадцати пяти в державе началась полная смута. Пошли сокращения, перебои с зарплатой, и без того крохотной. А самое жуткое — исчезли продукты. Пустые полки продмагов заставили сорговыми венниками, топориками, алюминиевыми сковородами и пачками хмели-сунели. (“Хмели-Емели власть не имели и поимели хмели-сунели”, — скалился вечно поддатый сосед.) Народ перевели на талоны. Но с этими талонами надо караулить у прилавка сутки напролёт, иначе всё расхватывают, а ты придёшь к шапочному разбору. А пуста кошёлка — вари суп из топора, согласно традиции русских народных сказок, и заправляй его теми самыми мясными талонами, что нашлёпала-напечатала бездарная власть... Ульяну иногда выручали заказы от кооператоров. Там вымпел предложат нарисовать, в другом месте — трафарет для футболок. А ещё сумки из мешковины штамповала, шлёпая на них ковбоев да девиц с неперменным “Made in...”.

А ещё книжки детективные оформляла. Много чего делала по мелочи, чтобы наскрести на какое-нибудь питание. Но потом и того не стало. Ни заказов, ни денег, ни продуктов. Бартер пошёл, слово такое в обиходе появилось. То банками с неведомой снедью расплачивались, то пачку детективов совали: бери — продавай. А бывало, и собственную кровь — сколько там её оставалось — в товар обращала... Лариска в ту пору чем-то отравилась, не то в яслях, не то дома — поди разбери, где и что тебе подедут. Её без конца рвало, пожелтела вся, усохла. Для спасения требовалось дорогое лекарство. Что оставалось делать? Отдала последнюю свою ценность — обручальное кольцо — единственную память об отце Серёжки. Даже фотографии от Игоря не осталось, только это кольцо.

Отчего же неожиданно-непрощено навалились на Ульяну эти воспоминания, хоть и гнала их что было силы? Да оттого, что случилось непоправимое, а виной всему стала Лариска, её дочка, так трудно ей, матери, доставшаяся.

\* \* \*

Годовщину отплытия Ковчега — так они с Йоном называли их встречу и первую, по сути венчальную, ночь, — в доме устраивалось семейное торжество. Заранее согласовывались подарки, припасались лакомства, накануне готовилась утка или индейка, а в утрах того дня Ульяна пекла кулебяки, начиняя их палтусом, или творожники из муки грубого помола, какие помнились по деревенскому детству.

Всё предполагалось как всегда. Неизменность сценария подчёркивала незыблемость семейных традиций, что для Ульяны было важно. Детали и вариации лишь подчёркивали эту нерушимость. Единственно, чем принципиально отличалась нынешняя годовщина, так отсутствием сына. Серёжка учился в университете, путь от Осло неблизкий, к тому же у него начинались зачёты, и она сама его отговорила. Зато вместо себя сын послал видео-поздравление, и она планировала включить кассету посреди застолья, тем самым введя его в семейный круг.

За неделю до события Ульяна договорилась, что занятия в студии начнутся на два часа раньше. Поэтому освободилась в тот день досрочно. Подарки мужу и дочери были приготовлены: Йону — запонки в виде серебряных подковок и брелок с золотистым морским узлом, а Лариске — две кассеты с популярными группами. Что осталось по пути — так заглянуть в булочную и купить свежего хлеба.

Домой Ульяна летела, как она сама себя подзадоривала, на крыльях: душа её пела и по-девчоночьи подпрыгивала. Небо над фьордом пылало: алый меч заката рассекал серебристое, как лосось, облако. Картина открывалась величественная, напоминавшая полотно Куинджи, и одновременно злове-

шая. Но она не изменила настроения Ульяны. И льдинка, на которой она поскользнулась и чуть не упала, вызвала не досаду, а, напротив, задор: Ульяна подцепила её носком сапожка и мастерски направила в воображаемые ворота Холмквиста.

К своему дому Ульяна подошла слегка запыхавшись. Что-то замедлило её шаг. Обычно свет горел во всех окнах первого этажа — и в гостиной, и на кухне. А тут светился только наружный фонарь, да чуть мерцало окно Ларискиной спальни. Входная дверь была открыта. Ульяна вошла внутрь, хотела была окликнуть, спросить, кто есть дома. Но услышала музыку. Сердце её тревожно забило: это был “Караван”. Не включая света, Ульяна поднялась на второй этаж. Музыка доносилась из Ларкиной спальни. Музыка и ещё голоса. Она толкнула дверь и... обомлела.

## 6

К Йону у неё вопросов не было. Он стал жертвой. Опоила, даже, кажется, чем-то уколола — так он твердил, тряся головой и умоляя простить его, поверить ему. Это было наутро. Ульяна кивала: так оно, видимо, и произошло. Йон лукавить не умел. Он был простой и бесхитростный, этот потомок викингов. Но для дальнейшего это уже не имело особого значения. Дисплей с зелёным apple — яблоком райского сада — разом померк, унеся в неги и “Караван”, и Аладдина, и всё то, что столько лет согревало её сердце. Сердце Ульяны сжало остудой, на неё навалились оцепенение и тоска. Всё, что требовалось от неё — и по дому, и в студии, — она делала машинально. Зато вместе с тем как-то иначе заработало её сознание. До того она позволяла себе думать от сих до сих, обозначив некий сектор в жизненном круге: вот это моё, а остальное меня не касается. А теперь её мысли, освобождённые от запрета, ринулись во все стороны.

Вспомнилось начало, когда, переиначивая судьбу, она, Ульяна, перевезла в Норвегию своих русских детей. Какой тогда была Лариска? Да малой пичугой, не иначе, — встопорщенной, выпавшей из гнезда несчастной пичугой. Хотелось прижать её, отогреть, обласкать, до того была растеряна. Так она, мать, и поступала, не скупясь ни на ласки, ни на подарки, подчас не ведая меры ни в том, ни в другом, тем более что Йон не перечил. Это было какое-то сумасшедшее время — сплошной праздник. Ещё недавно все они — и она, и дети — испытывали нищету, с хлеба на воду перебивались, и вдруг, как по мановению волшебной палочки, появились и вкусная еда, и нарядная одежда, и тёплый дом, то есть то, что надо для жизни, а главное — всё сразу.

Не тогда ли на языке у Лариски появилось бесплотное словечко — “легкотня”. “Легко, легкотня, влёткую” — это относилось поначалу к учёбе. Ей и впрямь все гимназические предметы давались играючи. Подчас и в учебники не глядяывала, всё схватывая на лету, и шутя переходила из класса в класс. Но, похоже, постепенно это словечко стало синонимом самоуверенности, этакое бесшабашно-легковесного отношения вообще к жизни.

Что стало первым звончком? Стрижка наголо. Лет в двенадцать Лариска постриглась, напрочь отчекрывив свои природные каштановые кудри. “Ёжик в тумане” — так она себя отрекомендовала. Может, тогда тот ёжик впервые чего-то нанюхался, напустив в рассудок “туману”? И не оттого ли стал всё больше топорщиться, словно вместо волос и впрямь стали отрастать иголки. А потом, будто в продолжение того внешнего сходства, ёжик, не иначе эволюционируя, превратился в дикобраза — с чем ещё сравнить тот вздыбленный на голове хайер, или ирокез, как там они это называют, да к тому же крашенный в ядовито-зелёный цвет?!

А потом? Разве не замечала она, мать, перемен, которые происходили с её дочерью? Замечала, они просто в глаза лезли: и эта взвинченная походка, и вульгарные жесты, и блуждающая, как теперь уже представлялось, порочная улыбка...

Как, оказывается, прав был Пётр Григорьевич, когда остерегал её! Зদেশние дети в этой среде выросли, они смала во всё посвящены, всё им дано и доступно, нет ни в чём никаких препятствий — таковы западные установ-

ки. А приедем детям и подросткам, особенно нашим, русским, эта вольница крышу сносит. Когда он это сказал? Да после той самой Ларискиной истерики — теперь-то она называла все вещи своими именами, уже не миндальная и не очуравшая себя.

Какowo услышать матери, что родители — это первая ступень космического корабля, которая обречена сгореть в плотных слоях атмосферы, чтобы вывести на орбиту спутник, то есть своё чадо! Дурно! Просто мерзко! Да ещё в таком тоне! И всё ради чего? Ради минутного каприза, взбалмашной прихоти. Ей, видите ли, срочно нужна тысяча крон, чтобы поехать на поп-фестиваль. А учёба? А домашние обязанности? Или всё побоку? Но самое отвратительное в этой сцене было то, что она творилась на людях. Дома, наедине, эту запальчивость можно было пригасить, скажем, отшутиться, пожать плечами, сделать вид, что не поняла, из-за чего этот сыр-бор... Но ведь та паразитка брякнула это при старике. Эх, как он тогда вспыхнул: “Вот она, распута европейская!” Эх, как повёл сивой бровью: “Укорота нет на тех дерьмократов!” И — к Лариске: “Ты как с матерью разговариваешь, дрычка ты пореформенная! Ты как ведёшь себя, демокруха ты сопливая! А ну извинись!” Та перекосилась, взвизгнула, что-то крикнула, повертев пальцем у виска, и дала дёру.

То была не единственная Ларкина выходка. Теперь-то Ульяне ни к чему стало скрывать, гасить да осаживать свою память. Случалось кое-что и похлеще. И алкоголь был в неумеренных количествах — пьяную домой притаскивали. И травку курила. А потому, как следствие — из дома пропадали вещи и деньги... Много чего уже было в её пятнадцатилетней жизни — всего и не перечислишь. Невинность она потеряла полтора года назад. Ульяна узнала о том от школьного педиатра. Обе матери, они повздыхали, попеняв на время — о времена, о нравы — и, разведя руками, разошлись. Что они могли тут поделать, если подростковая распущенность стала едва ли не нормой!

Месяца три назад Ульяна своими глазами видела, как Ларка лижется с каким-то парнем. Было это среди бела дня неподалёку от арт-хауса. Инициатива исходила явно от неё, её дочери. Больше того, Ульяна заключила, что и место, и время выбраны не случайно: она же знала её, матери, расписание. Что она этим хотела показать? Решила продемонстрировать, что она уже взрослая, что ей никто не указ и что она вправе распоряжаться сама собой и как ей заблагорассудится? Ну, продемонстрировала, показала в очередной раз. А дальше-то что? Ждала реакции? Крика? Гнева? Скандала? Хороша была бы она, мать, если бы поддалась на провокацию и устроила скандал. И дело не в том, что здесь это не принято: толерантность и ещё раз толерантность. Она всё ещё надеялась на своё терпение — обыкновенное русское терпение, рассчитывая, что всё перемелется, образуется, уляжется, то есть что эта зараза переберется и образумится... Увы, оказывается, и терпение не всегда приносит результаты, даром что со школы твердили: учение и труд всё перетрут. Не перетёрли...

Первая мысль после шока: в Лолиту захотелось поиграть? И сама же отвергла: нет, тут что-то другое. А что? Ларка два последние года неуклонно гнула своё, она явно ждала взрыва, гнева, скандала... А не дождавшись, пошла на крайность. Не случайно выбрала именно этот день, день Ковчега. Насолить хотела? Да что там — насолить! Так мстят. Только за что? В чём она, мать, провинилась перед своей дочерью? В чём она, дочь, обделена? Чего лишена? Внимания? Ласки? Тут на всех поровну — это справедливо. А всё остальное — как у здешних сверстников, тем паче эмигрантов, а, может, в чём-то и поболее. Своя комната, полный шкаф одежды и обуви, компьютер, музыкальный центр... Чего ещё не хватает? Да ежели по справедливости, всё, что она, Ульяна, сделала в жизни, всё сделано ради них, её детей — Сергея и Ларки. И Родину она покинула ради них, ради их будущности. Была бы одна — ни за что бы не сделала этого, прожила бы... Ради них бросила... Обрудила, пыталась обрубить даже свою память. И вот — благодарность, награда за все её терзания и муки...

Ульяна заглядывала в себя, как заглядывают на дно колодца, пытаясь разглядеть не только отражение, но и ещё что-то, что за ним, в самой без-

дне. Она не щадила себя, перебирая прошлое. Был у неё грех, что там таить. Мелькала мысль об аборте. Мелькала. Но ведь не совершила. Теперь говорят, что такие зарубки остаются на подсознательном уровне ещё нерождённого. Даже если и так, разве она не загладила этот рубец своим неустанным материнским трудом, а по сути, жертвенностью, подчинив свою жизнь детям — Серёжке и ей, Ларке?.. Ну почему? Почему она это сотворила? Почему она, её дочь, пошла против неё, матери? Ульяна снова и снова задавала этот вопрос, неведомо к кому обращаясь. Ответа не было. Кто скажет, почему в здоровом организме заводится раковая клетка? Может, виной всему гены? А в этом случае — дурная кровь, доставшаяся Ларке от отца?

\* \* \*

Будущий отец Ларки появился на её, Ульянином, пути, когда она немного оправилась от горя. Она устала от одиночества, от слёз, которые таила от маленького Серёжки, от тяжёлой, подчас нищенской, жизни. Хотелось улыбаться, хотелось к кому-то прислониться. А тут — нате вам! — весёлый, разудалый, озорной, немного похожий на популярного артиста, игравшего мужественных героев. С ходу приобнял: “Пойдём за меня, красавица?” Глаза охальные. По всему видать, крученный-верченый. На предплечье татуировка: орёл, несущий добычу, а добыча — не то русалка, не то спящая красавица. Как такому поверишь?! Но ведь сердце-то — не камень. Вода камень точит, а бабье сердце — ласка. Открылось оно, как примороженный бутон тюльпана раскрывается от мягкого ветерка да тёплого сеянца. Открылось робко, доверилось в надежде. И вроде как не напрасно. В доме — в общежитской их с Серёжей комнате — веселее стало. И Серёжик ручонки тянет к залётному, пытаюсь что-то сказать. До того три года — ни звука. Думала, уж пожизненно немой. И врачи руками разводили: вероятно, последствия предродового спазма. А тут вдруг ожил, лопочет, улыбается. И залётный с ним возится: “Ништяк, малец, выплывем! Всё будет тип-топ!” “...Оп!” — притаптывает Серёжик. “Где наша не пропадала?! Аха?” “Га-ха”, — улыбается сынушка. Забудешь разве такое!

Где залётный работал и работал ли — она не знала. Но деньги иногда приносил. А ещё подарки дарил: то кофточку, то сапожки-чулки, тогда модные были. И Серёжке чего-нибудь: конфет, игрушку или рубашонку... Попивал, конечно, — как не попивать, все пьют. Но не буянил, не озоровал, как другие в общаге. Себя иногда в подпитии называл “печных дел режиссёром”. “Как это? — спрашивала она. — Из классики или из современных?” “Из... — уклончиво отзывался он. — Есть рассказ один...”

Она потом поняла, о каком рассказе шла речь. Мужик приходит в село, останавливается у вдовы, кладёт ей печь, а заодно — прокладывает дорожку к её сердцу. Слава о народном умельце живо разносится по селу. От заказчиков на его умелье руки нет отбоя. Он ставит или ремонтирует одну печь за другой. А ещё создаёт на селе театральный коллектив и начинает репетировать — ни много ни мало — “Гамлета”. Проходит время. Печи поставлены, спектакль — тоже, премьера прошла на “ура”. И на заре, завершив назначенные дела, мужик уходит, навсегда покидая селенье.

Залётный исчез, когда она сказала, что уже на третьем месяце. “Сложил печурку, — горько усмехалась Ульяна, — и дёру...” Более она его не видела и ничего о нём не слыхала. Вещицы, что он дарил, понятно дело, поизносились. Память повыветрилась. А что осталось-сбереглось, так одно лишь отчество в Ларискином свидетельстве. Так казалось. А выходит — и кровь, шалапутная да побродяжная.

## 7

К кому было нести свою боль, своё внезапно навалившееся отчаянье? Единственная родная душа — сын. Но Серёжка находился в Осло, где учился на втором курсе университета. К тому же едва ли он годился для такого разговора. Это ведь не кино обсуждать, не проигрыш любимой команды.

И даже не болезнь. Тут совсем потаённое. А на кону — ни много ни мало — судьба семьи, будущее и её, и Иона, да и Лариски...

Едва ли не впервые за здешнюю жизнь Ульяна остро почувствовала, что она на чужбине. К кому здесь с этим прислониться? Кому поплакаться? Это ведь не Россия, где можно доверить свою печаль-тоску даже случайному попутчику, и он с сочувствием выслушает тебя и, может, даже даст какой совет. Во всяком случае так прежде было. К батюшке податься православному? Но церковь русская далеко, туда не наездишься. К здешнему психологу? Но это непривычно, да и холодом веет от медицины. Может, к кому из соотечественников? Ульяна мысленно перебрала всех здешних русских. Увы, ни с кем из них у неё не было особо доверительных отношений, хотя подчас и болтали подолгу, соскучившись по родной речи. Остался только Пётр Григорьевич.

Ульяна медлила. Обратиться к старику — значило выслушать много укоров и упрёков. Ведь он предвидел, чем может обернуться Ларискина вольница, её хамоватость, бесцеремонность, ранняя распущенность. Ведь он предупреждал её, Ульяну, коря за материнскую слепоту и зашоренность. В конце концов, она решилась: пусть осыпает упрёками, пусть шпыняет, пилит — заслужила, лишь бы открыться, лишь бы выпустить эту боль.

На звонок Ульяны Пётр Григорьевич откликнулся немедленно. Они устроились в укромном уголке полупустого кафе. По смятенному виду Ульяны, а того раньше по голосу старик догадался, что что-то стряслось, и, не дожидаясь ещё объяснений, взял её за руку. Тут она и разрыдалась. Зажимая рот ладонью, давясь слезами, пыталась говорить, но выходило худо. Он не торопился, тихо гладил её руку, терпеливо ждал. Мало-помалу приступ прошёл, плечи, ходившие ходуном, опали, но слёзы всё текли и текли по её измученному, осунувшемуся лицу.

Пётр Григорьевич налил ей воды, подал платок. А после того как Ульяна коротко обсказала всё, старик и заговорил. Говорил тихо и ласково. Тут важен был не столько смысл, сколько тональность, та корневая, родовая — от бабушек и дедушек — русская сердечность, которой напиться поколения русичей, та жалость да утешность, где твоё сердце, как разверстый сосуд, в который можно сточить слёзы, боль, обиду, пусть он и так всклень переполнен.

Они смотрели друг другу в глаза, как отец и дочь. Оба сироты, но сродные души. У него земные сроки подходили к концу, ей ещё предстояло жить. И он старался мягко и ненавязчиво наставить её, укрепить дух, предостеречь от дальнейших заблуждений и ошибок.

И ещё одно посоветовал Пётр Григорьевич. Всё время твердивший о возвращении на Родину, а стало быть, и её подбивавший к тому, он неожиданно открылся как прагматик.

— Пока не разрывай с мужем, не спешу. Может, утрясётся, обмнётся, простишь... А нет... У тебя когда семь лет? Вот! Дождись срока, получи здешнее гражданство — оно не помешает. А потом уж решай...

\* \* \*

Разговор со стариком укрепил Ульяну. Жизнь продолжается. Надо применяться к новым обстоятельствам, а стало быть, действовать.

Первым делом Ульяна спланировала с глаз долой Лариску, нельзя ей было оставаться дома. Устроила в закрытой гимназии в пригороде столицы. Там строгий режим, насыщенная учебная программа — дурью маяться не позволят. А по воскресеньям её будет опекать строгий старший брат, у которого не забалуешь.

Этот шаг Ульяна назвала про себя работой над ошибками. После этого предстояло определиться с Ионом. С того дня, как их Ковчег потерпел крушение, они разговаривали мало. Вернее, Ион-то пытался заговаривать, накрывал стол, заводил Эллиingtona, но она его остужала, уходя от разговора, не удостоивая внимания ни его кулинарию, ни музыкальные подводки.

Теперь, когда они остались совсем одни, Ульяна сама попыталась смягчиться. Она старательно вспоминала первую их с Ионом ночь, мурлыкала

про себя — пусть немного и натужно — знойный “Караван”. А однажды сама накрыла на стол. К приборам она поставила два бокала, а посередине — бутылку красного сухого вина, она открыла для себя замечательное чилийское вино, изысканно терпкое и густое по цвету.

Йон не был красавцем. Худощавый, долгоносый, белобрысый — таких много на здешних факториях, где ещё до недавних пор жили бедно и скудно и не нагуляли породы. Раньше Ульяна не замечала этого, очарованная счастьем, свалившимся на неё, а теперь словно прозрела. Улыбка виноватая, даже жалкая, жидкие усы, глаза белёсые, мелкие — что она нашла в нём?! Сделав усилие, Ульяна оборвала себя: стыдись! Йон единственный, кто отозвался на крик о помощи, крик твоей души, а с лица воды не пить. Она через силу улыбнулась и предложила налить вина.

Они пили вино, перебрасываясь незначительными фразами, обмениваясь короткими взглядами. Скованность обоюдная не проходила. И всё же так или иначе — по инерции, под воздействием вина, а также умозрительных усилий — они оказались в спальне — там, где давно-давно завязалось их счастье. И опять играла труба, звучал “Караван” и витал запах кофе. Всё, казалось, было, как прежде, как тогда... Но как тогда, увы, не произошло. Блик ли ночная, свет ли далёкий фар, что мазнул по потолку, но Ульяна вдруг представила себя стоящей возле дома, тревожно глядящейся в окно, где мелькали тени, мучительно всхлинула, вскочила с постели и выбежала вон.

Всё разладилось. Как Ульяна ни строжила себя, как ни уговаривала — ничего уже не помогало, ей не удавалось пересилить себя. Йон же от этого потерял голову. Он то свирепел, то плакал, то напивался и ломился, то грозился покончить с собой и даже показывал верёвку. Ульяна от этого устала. Однажды на те посулы она сказала, что потомку викингов негоже трясти удавкой — они кидались на меч. Тем самым она, похоже, окончательно отрезала обратную дорогу.

## 8

Для Ульяны началась новая житейская полоса. Похожа она была на дорогу в межсезонье: и грязно, и скользко, и не знаешь, куда ступить, а идти надо. Выручал, как всегда, Пётр Григорьевич.

Старик, бывало, всё тормошил её, выпрашивал о родне, о доме. Даже опыт предлагал, дескать, ты, дочка, что-то рассказываешь, я рисую, а потом сравниваем... Прежде Ульяна не отзывалась на это, она либо пожимала плечами и переводила разговор на другое, либо отшучивалась. С тех пор как началась закордонная жизнь, она положила себе ничего не вспоминать, а уж тем более не рассказывать. Прошлое не вписывалось в здешние реалии, как скромная акварелька не вписывается в золочёную багетную раму. Оно мешало ей в новом обустройстве, и она словно отложила его. Так откладываю в дальний ящик шитьё с вдруг оказавшейся ненужной вещью. Скатала прошлое в рулон со всеми выкройками, мелковыми метками и положила в самый нижний ящик комода, пересыпав не столько для сохранности, сколько по привычке нафталином. И всё...

Однако после того, что стряслось, ей понадобилась житейская опора. Куда заплешино кинулась душа? Да в то самое прошлое, упрятанное под спудом. Ведь было же оно у неё. Было безоблачное и счастливое детство, юность, полная надежд и ожиданий. И дом, и большая семья... Всё было. И светёлка под крышей, и письменный столик, и даже шкаф, не столь глубокоуважаемый, как у Раневской, — чего уж там! — но был...

Сама с собой Ульяна вспоминала былое иначе, чем делилась этим со стариком. От себя она теперь не таилась. Но в разговорах с ним кое-что пропускала. Менялась ли от того вся житейская картина, она не сознавала, однако обнаружила, что утаённое не пропадает бесследно, а, оказывается, тоже заполняется краской. Таково, видимо, свойство родственных душ. Они создают единое силовое поле, в котором проясняется забытое или потаённое, и окрашивают всё тем тёплым, умиротворяющим светом, который оставляет надежду.



Что Ульяне в посиделках с Петром Григорьевичем чаще всего вспоминалось? Деревня, река, улица, заулоч, изба... Из родни — больше сестра Раечка да папушка.

Об отце в селе незлобливо шутили, что он с войны пришёл и как на новое место службы определился, в новую войсковую часть. На войну попал бесхитростным деревенским пареньком, был покладистый да смиренный, привык беспрекословно подчиняться отцам-командирам. Так и тут. Очутился по вербовке на Севере, леспромхоз оказался поблизости от села, попался на глаза Пестимее, она его и залучила, став и взводным, и ротным, и самым главным командиром. А Трофим и не возражал. Ему по сердцу пришлись и новый командир, и своё новое положение, будто как раз этого ему и не доставало. Работал в лесу, потом в колхозе. Плодил детушек — Пестимея рожала часто — и набралось их семеро по лавкам. Мужики после подённого упряга, бывало, — в лавку да под угор, за бани — “остыть телом да вскипеть душой”, как говаривал шепутной сосед Федя Гаревских, по жене прозванный Манефин. А Трофиму некогда гулеванить. Семья-то растёт, каждый ись просит, а в хлеву скотина мычит да блеет. Вот и вертись мужик! Выпивать, конечно, выпивал, но немного. Да и то всего трижды в году — на Октябрьские, на Новый год да на 9 Мая. В День Победы надевал медали и орден Славы. Как только глаза Трофима отгуманивались, Пестимея посудину убирала — “Будет!” А он и не возражал, не стучал по столу, как другие мужики, мол, дай помянуть окопных братьев, что порастерял на фронтовых перепутьях. Он вообще редко перечил. Он не возразил, когда лишили доплаты за ордена, когда отобрали паспорт — колхознику не положено! Тут поговаривали, что оборотистость проявила Пестимея, дабы бесповоротно подмять мужика. Он не перечил, когда бригадир то и дело наряжал его на самую тяжёлую работу — на скотный двор выгребать навоз или в силосную яму очищать её от прошлогодней гнили... А уж о главенстве в доме и речи не было. Воспитание детишек Трофим передоверил супруге. Все дочки и сыновья были под Пестимеей, она держала их в горсти, как заповедовали ей её родители — исповедники старой веры. Все — и дочки и сыновья — не смели матери прекословить. И только её, Ульянку, самую младшую в семье, матери не сумела подчинить. Тут едва ли не единственный раз за всю жизнь поперёк встал отец. А произошло это потому, что ещё сызмала он заметил у младшей художественные задатки.

С чего это началось? Усадив дочку на колени, Трофим листал “Родную речь”. Читал вслух всё, что попадалось. То сказку, то стихи Пушкина, то толстовский рассказ. А затевался этот домашний урок всегда с того, что папушка вглядывался в картинку на обложке. Пейзаж Шишкина “Рожь” напоминал ему детство, родные рязанские места. Всякий раз он оглаживал натруженной рукой хлебное поле, словно стирал дымку памяти и наяву прикасался к отчине. Иной раз уже после чтения он брался за гармонь и что-нибудь тихо напевал, особенно если матери в избе не было: “На муромской дорожке” или “Меж высоких хлебов затерялся...”. Глаза его при этом отгуманивались, как и на 9 Мая.

Ульянка, конечно, заметила всё это, и ей захотелось как-то порадовать папушку. Думала она, думала и придумала. Когда братья и сёстры убежали в школу, она достала карандаши “Спартак”, серенький простой альбом и стала рисовать. Да так увлеклась, что не заметила, как сзади подошла матери. Глянув на занятие дочки, а главное — результат, Пестимея покачала головой и отошла, вымолвив только одно слово: “Эко!” Зато папушка так и просиял, увидев рисунок дочки. Это было вечером, когда он вернулся с работы. Не смея взять лист с рисунком в руки — они были черны от тавота и солидола, — папушка в приливе чувств чмокнул дочку в маковку: “Умница ты моя!” Что и говорить, обласкала Ульянка папушкино сердце. Ведь она во весь альбомный лист воспроизвела то, что было изображено на обложке “Родной речи”, — пейзаж Шишкина. Причём нарисовала так, что даже старшие братья, никогда не принимавшие её в свои игры — “Мелюзге неча тут делать!” — и те удивлённо и завистливо качали головами: они-то так не умели.

Рисунок тот, потом говорили — репродукция с картины, папушка заправил под стекло в специально сделанную рамку и повесил в простенке рядом с часами-ходиками и отрывным календарём — на самое почётное место. А потом, когда всевозможных рисунков — и карандашных, и уже акварельных — появилось множество, папушка устроил её персональную выставку, развесив те листы на нитки, протянутые вдоль стены. Это было уже тогда, когда она пошла в школу.

Мать художествам её, как она выражалась, поначалу не перечила: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не уросило. Но вскорости переменялась: младшая выбивалась из семейного круговорота, где всё подчинено раз и навсегда заведённому порядку. Братья пилят да колот дрова, носят с реки воду, топят байну. Сёстры запаривают поило для скота, кормят овечек, куришек, а то шьют-кропают чего-нибудь. А младшая, извольте полюбоваться, кисточкой чирикает.

Не по злобе, конечно, сердчала мать, калила сердце. Такая была порода, такой характер, такая выучка. Старая вера, суровые нравы, пусть и остатного уже замеса, требовали во всём неустанного рачения, беспрекословного послушания. Такие натуры сбирались веками, это кремень, обкатанный на порожистой реке жизни. Такой камень в крепостную стену годится и в брусчатку вечевой площади. Но в новом житье-бытье такому характеру было ох как непросто.

Матери, привычной к вековечному укладу, были странны художества дочери, которая от хозяйственных семейных дел всё норовит в свой уголок к карандашам да краскам, а со временем не только странны, но и нестерпимы. И, верно, отступилась бы Ульяна от своего дара под таким напором, если бы не папушка. Мягкий, податливый, “из таких верёвки выют”, тут папушка не уступал и тоже становился как кремень. А когда два кремня схлестнутся да колотнутся лбами — искры сыплются.

Последний раз такой “фейерверк” случился после окончания школы. Мать рядила, что Ульяна пойдёт на ферму, как сёстры, а потом буди что — выучится в ближнем совхозе-техникуме и вернётся домой агрономом или зоотехником. Худа ли планида?! — и при должности, и при почёте. А Уля мягко, но неуступчиво заявила, что хочет учиться на художника. Что тут затеялось! Мать вскипела: вольницы захотелось? И к отцу: это ты, потатчик! Криком занялась да всё пальцем вверх тыкала, ровно боярыня Морозова. Но не Божьей карой грозила, а поминала, что сотворил-учудил её благоверный. Ведь Трофим, чтобы оградить занятия дочки от лишних поглядок да попрёков, оборудовал под крышей светёлку. Он такие видал в Польше да в Германии, когда воевал. Мансардами называются.

Никак не желала мать, чтобы дочь её единокровная отрывалась от родного дома и зажила поодинке где-то на стороне. У них в роду такого и в заводе не было, на чужую сторону не выдавали, а уж по какой другой надобе и подавно. Ладно сыновья — их призвали в армию, дело казённое, а там дальше по военной линии пошло-поехало. Но покорливой дочери место возле родителей. Вроде ясней некуда. А Ульяна своё: хочу быть художником. Мать навела справки: живопись преподают в училище, которое находится в областном центре. В областном — не за тридевять земель. Ладно! Но Ульяна, уже знающая, что к чему, и тут возразила. В “кульке” — училище культуры — того образования не дадут. Знающие люди советуют поступать в Ярославль. И другого она не хочет.

После этого начался новый виток семейных баталий. Длилось всё это несколько недель, пока из Ярославля не пришёл вызов. Оценив Ульянины работы, которые она послала по весне на творческий конкурс, училище пригласило её на экзамены.

Мать махнула рукой — быть по-вашему! — и ожгла отца взглядом. Втайне она надеялась, что Ульяна экзамены не сдаст и вернётся восвояси, о чём поделилась с Раечкой. Однако Ульяна успешно выдержала все испытания и вернулась домой, чтобы получить от колхоза справку и собраться на учёбу.

Особых денежных доходов в их семье никогда не водилось. Колхоз платил главным образом натурой: житом, картошкой да молоком. Но на роди-

тельском совете было решено, что семья будет ежемесячно переводить студентке пятнадцать рублей. Деньги невелики, но вкупе со стипендией, ежели с умом жить, хватит. Никто почему-то не сомневался, что Ульяна непременно будет получать стипендию.

Что оставалось делать Ульяне, когда она оказалась за пределами не только родительского крова, но и в другой области? Корпела, зубрила, читала и писала конспекты день и ночь. Не пропускала ни одной лекции, ни одного практического занятия. В результате первую же сессию сдала на “отлично”, подтвердив, что не зря получает стипендию. Вкупе с родительскими переводами сумма на прожитие была скромная, но достаточная. А на мороженое да киношку отдельно “подбрасывал” папушка. Он часто писал письма и в конверт, аккуратно замаскировав, чтобы не видно было на просвет, вкладывал то трешку, а то и пятёрку.

## 9

После второго курса, приехав на каникулы, Ульяна привезла с собой три объёмистые папки. В них были карандашные натюрморты, акварельные пейзажи, линогравюры и эстампы — всё то, что она наработала за два учебных года.

Первым зрителем этого собрания стал, разумеется, папушка. Ульяна волновалась тогда не меньше, чем на экзамене. Да и то: ведь папушка, поверивший в её дар, покуда был для Ульяны самым главным экзаменатором, и она страх как боялась разочаровать его. Бережно развязав заскорузлыми пальцами тесёмки, папушка неторопливо рассматривал ватманские листы и непременно заглядывал на оборот, где стояли отметки или резолюции педагогов. Взгляд его был сосредоточен, он дотошно разглядывал каждую работу, то отводя её на расстояние вытянутой руки, то опять приближая к глазам. Его восприятие, видимо, не всегда совпадало с оценками преподавателей, и в таком случае он ещё раз вглядывался в пейзаж или натюрморт, чтобы попытаться понять причину расхождения.

Отлегло от сердца Ульяны только тогда, когда пришёл черёд речному пейзажу. Эту работу она выполнила совсем недавно, когда их группа выезжала на пленэр в Углич. Папушку порадовало тут всё: и далёкая облачная кисея, и речная гладь, и луг, что расстилался перед рекою. Ульяна облегчённо вздохнула — главный экзамен на эту пору был, кажется, сдан, а вспомнив, что там, на этюдах, она думала о доме, об этой минуте, счастливо засмеялась.

— Хорошо, — заключил отец, — хорошо, — добавил ещё раз, отмеряя похвалу одному ему ведомой мерой. А потом, словно спохватившись, чуть удивлённо добавил: — А наша-то, кабыть, пошире будет...

Ульяна поняла, о чём речь.

— Так то же верховья Волги, начала. А у нас край Двины. До устья-то много ли?..

Папушка выспрашивал её о педагогах, об однокурсниках да не переменились ли соседки по комнате — он ведь знал уже по письмам да прежним разговорам, с кем она делит общежительство. А ещё о столовой опрашивал: как и чем кормят, хватает ли... И всё наставлял: ежели что — срочное, важное — отпиши, а то дай телеграмму, а ещё лучше вызови на переговоры, сельсовет-то — звон где, в двух шагах.

Кроме своих работ Уля привезла тогда репродукции с картин. Собирала она всё — и отечественных, и зарубежных художников, но захватила с собой только европейцев: вырезки из “Огонька”, “Смены”, “Юности”, наборы открыток, которые покупала, выкраивая из скромного студенческого бюджета.

Где разместить привезённое — она долго не раздумывала: разумеется, в светёлке, что устроил для неё под крышей папушка. А как? — тут надо было приноровиться. Часть репродукций, у которых имелись белые поля, она прикрепила кнопками, а часть, воспользовавшись папушкиным методом, развесила на нитках, используя канцелярские скрепки.

Это было день на третий или четвёртый. Доклады о студенческом житье-бытье — степенные для матери, более искренние для папушки — сделаны, новости деревенские от сестриц да бывших одноклассниц услышаны, визиты к семейной родне да порядовым соседям нанесены. Вот и наступил черёд этой папке, в которой покоились репродукции. Выставка была составной частью её приезда — этого маленького триумфа, её задуманного сопротивления будням, даже и каникулярным. В юности страсть как хочется нескончаемого праздника!

Первым в домашнюю галерею-мансарду она пригласила, само собой, папушку, ведь именно его прежде всего она собиралась порадовать-удивить. Стояли дни летней передышки: пахота да сев закончились, сенокос ещё не наступил, папушка возвращался с работы не запоздно. Вот после ужина Уля и кликнула его с верхотуры.

Остановившись в дверях, папушка окинул взглядом стены, и его белёсые брови изумлённо вскинулись — Ульяна явно достигла желаемого, — а потом губы папушки тронула тихая улыбка, это он, видать, различил скрепки.

Начался осмотр. Папушка медленно пошёл вдоль стены. Он клонил голову то вправо, то влево, то отступая, то приближаясь к листкам, как завятый ценитель искусства, хотя в музеях, насколько ведала Ульяна, ему бывать не доводилось.

- Это Матисс, — поясняла она, кивая на огненный “Танец”.
- Красно, — неопределённо, но как-то значительно кивал папушка.
- Это Сезанн.
- Э как!
- Это Дега.
- Синё-то...

Возле одних репродукций папушка задерживался, чему-то удивляясь, даже возвращался. По другим лишь мимоходом скользил взглядом, явно не принимая.

Европейцы — дальние по времени и более ближние — шли попеременно. Ульяна только называла имена, она не вдавалась в подробности их судеб, о которых знала из книг и лекций по искусствоведению, тем паче — о манере письма, цветовых пристрастиях и прочих тайнах живописи. Это всё она оставляла на потом. Потом, когда улягутся первые впечатления и возникнет предметный интерес. Как было у неё...

Они шли дальше.

— Это Ван Гог... Это Гоген — полотна, писанные на Таити... А это Дали...

Что случилось дальше, Ульяна не поняла. Папушку вдруг согнуло, скрючило, как от удара в живот, он закашлялся, шея его налилась кровью. Ульяна от испуга даже ойкнула. Он вяло повёл рукой, мол, ничего, успокойся, сейчас пройдёт, и, не переставая надрывно кашлять, поплёлся наружу. Уже в дверях, не оборачиваясь, ещё раз остановил жестом.

Табак. Не иначе табак. Слишком много курит. От всего отвалила его мать, а от этого, как ни бьётся, никак не может. Эта напасть к нему привязалась с детства, точнее, с того лютого года, когда куревом, палёной листвою подавляли голод. Вот и мается.

Ничего, успокаивала себя Ульяна, откашляется — вернётся, чего мешать в таком разе. Вернётся. Ведь и одну стену даже не осмотрел. А вернётся — она непременно покажет ему самую любимую свою работу в этой галерее — “Охотников на снегу”. Вон он, Питер Брейгель, рядом с Дали.

Ждала Ульяна, ждала, да не дождалась — папушка не возвращался. Совсем растревожившись, она кинулась вниз.

Папушка сидел на крыльце, опершись локтями о колени, и пытался скрутить сигарку. Пальцы дрожали, простые, привычные движения никак не давались, бумага рвалась, табак золотой струйкой сыпался мимо. Ульяна перехватила его заделье, скрутила самокрутку, набила её табаком и сама прикурила.

Виновато мотая головой, давясь горьким дымом, папушка прокашливался и что-то говорил, а по щекам его текли слёзы. Ульяна слушала, почти ни-

чего не понимая, потому что была сосредоточена на другом — этом внезапном и таком непонятном приступе: не обернётся ли это бедой? Горловые спазмы мешались с кашлем, икотой и дымом. А она, сидя подле, всё гладила его по спине, шептала: “Папушка, папушка...” и не знала, что делать: кричать, звать на помощь или вот так успокаивать, утишать, слушая, как тяжело бьётся отцово сердце.

— Они долги таки... Шеи-то тянут... Из огорожи... Глаза-те как блюдца... А горит округ... Я туда... Отворить нать... А как?... Снайпер оттель... Чуть нос — он и дупит... Не стерпел — нать спасать... Сунулся — и аха...

Папушка мотнул головой. Рана. Опять засквозила старая рана. Ласково приговаривая, Ульяна переместила ладонь к левому плечу. Ниже ключицы разрывная пуля вошла, а из лопатки, вырвав кусок кости, вышла. Вот она, эта страшная ямина — воронка, из которой едва не высвистнулась отцова, а следовательно, и её, дочери, жизнь. Улина ладонь бережно прикрывала эту разверзшуюся бездну и как раз входила в неё.

Уля долго гладила искалеченную отцову спину, утишая боль, горькую память, и вкладывала в эти ласковые прикосновения всю свою благодарность, нежность и любовь.

## 10

Посиделки с Петром Григорьевичем в тот тёмный во всех смыслах период проходили ежедневно. То в студии после занятий, то в кафешке после короткого пленэра или урока в галерее. Да не мельком, не впопыхах, а обстоятельно — по часу, а то и по два. Ульяна догадывалась, что старику тяжело, что он перемогает себя, давая ей возможность пережить смутную пору. Но при этом не отказывалась от его участия. Ведь виду он не подавал.

Слушая Ульяну, Пётр Григорьевич не расставался с блокнотом. То делал портретик, то запечатлевал какой-то возникший в разговоре образ. Погружённый в себя, в свои мысли и недуги, он, казалось, многое пропускал мимо ушей. Однако Ульяна знала, что это не так. Время от времени старик вставлял замечания и даже поправлял её, если речь касалась деталей или предметов, которые он знал и помнил лучше. А ещё, если к месту приходилось, что-нибудь уточнял: например, резьбу наличников в родительском доме, форму штакетника, какой у печи был дымоход — прямой или с коленцами, как была отделана её светёлка и какое у неё было окно — стандартное или полукруглое итальянское. Ульяна недоумевала: зачем это? И откуда ей знать, какой дымоход был у русской печи?! Но потом, чуть позже, с тихой радостью начинала вспоминать, как красиво в полукружье окна вписывалось рдяное зимнее солнце. А каким чудесным теплом обволакивала печка, когда после катания на чунках она, девчушка, настывая да продрогшая, забиралась на её каменную спину!

А в студии старик по-прежнему рисовал пейзажи, мысленно уносясь в родимую сторону: лесные опушки, луга, стога сена, озёрные глазницы, клюквенные болотца, речные дали, лодки у берега, избышки, баньки, пастбища с коровушками, жеребятами-стригунками... Господи, сколько же отрады в песне о Родине, и сколько ни пой её — по гроб жизни не перепоёшь! Это радовало Петра Григорьевича и утешало: не надоест летать в родимую сторону. Одно огорчало старика: ему по-прежнему не давалась небесная даль.

— Наличники, палисадники, стога — всё вроде как надо... (“Да-да”, — соглашалась Ульяна, чтобы не огорчать старика, — у него заметно падало зрение.) А небеса — увы...

Выпустив из внимания Ульяну, он опять повернулся к мольберту. Окинул и так и сяк, отошёл, снова приблизился, задумался, понурился, а потом вдруг вскинул руку.

— Может, там смекну? — это он подумал вслух. Вслух старик теперь думал часто.

Ульяна не отозвалась, чтобы не мешать ему, но вздохнула. Пётр Григорьевич всё чаще болел. И этот вздох был знаком согласия: ведь и впрямь,

видимо, уже скоро старик узнает глубину неба. Пятна старческие появились не только на руках, но и на лице, а белки глаз подёрнулись мелкой сеткой сосудов. “Укатала горюна чужа сторона”, — как он сам говорил.

...Старик скончался в январе. Похоронили его там, где он и предвидел, — на муниципальном кладбище, разлинованном на аккуратные квадраты. Земля на могиле была мёрзлая. Вид этой комковато-стылой земли и всего окружающего настолько не совпадал с пейзажами Петра Григорьевича, что Ульяна разрыдалась.

— Господи, — взмолилась она, придя на могилу на девятый день, — не залучай душу новопреставленного раба Твоего Петра, прежде чем она не погостует в родных пределах. И дай ей не сорок дней, а дозвожь остаться там до осени, чтобы её качало на весенних ветрах, покружило зноим июля, обдало пряным духом скошенного сена и волглым запахом грибницы...

## II

Тот год, начавшийся с кончины старика, покатился кувырком. Впрочем, кувырком всё пошло раньше — с осени, с выходки дочери. Её вероломство, это предательство не только подкосило Ульяну, оно ускорило смерть Петра Григорьевича. Он ведь тоже переживал, видя, как мается она — родственная душа. А много ли надо усталому сердцу, в котором жизни оставалось на воробьиный скок?!

Ещё недавно, казалось бы, крепкая семья разваливалась на глазах. Ульяна места себе не находила, всё валилось из рук — и на работе, и дома. Йон от её охлаждения стал запивать — и то плакал, то грозился. Дальше — больше: у него начались неприятности на службе, случился срыв, прогул, а ведь спасательная служба — та же армия. А главное — Лариска, она не унималась и, по сути, издевалась над ними — и над отчимом, и над нею, матерью. Однажды она выслала Йону по почте своё бельё. С ним была истерика. Он хохотал, брезгливо приплюсываясь, мял эти прозрачные тряпицы; кричал, что это она, Ульяна, виновата; это она воспитала такую заразу, которая испоганила жизнь и его, и своей матери. Ульяна молча, глотая слёзы, слушала попреки, и крыть ей было нечем.

Да, во всё виновата она. Сделала бы тогда аборт — как советовали — ничего бы этого не было. Не смогла. Грех ведь. Словно то, что понесла от проходимца, пусть и весёлого, грехом не было.

Схватив мобильник, Ульяна вызвала дочь и, напрочь забыв про наставления доктора Спока вкупе с европейской толерантностью, наговорила неведомо чего, пока на счётчике не вышли деньги. Но даже после, не заметив, что говорит в пустоту, продолжала честить “ту заразу” на чём свет стоит, покуда Йон не тронул за плечо и не глянул в безумные глаза. Во взгляде его было и сочувствие, и смятение, и вина — чего только в глазах его не было. И тут бы кинуться ему на шею, да всё простить, да забыться в объятиях друг друга, изживая-сжигая обиду и тоску. Но нет... Не та порода, не та закваска. Тут матушкина кровь, замешенная на староверском кремни. И хоть разжижилась та кровь, заводянекла, да до конца-то не выстыла. Сняла его руку с плеча и молча ушла в свою комнату.

Ульяна решила так: коли дочь — её грех, ей его и отмаливать. И лучше всего быть всё время подле неё, пока она не перебесится, не наберётся умаразума. Так сказала она Йону, собираясь в дорогу. А об их совместной дальнейшей жизни сказать ничего не смогла — нечего было говорить. В ту пору на руках Ульяны был полноценный норвежский паспорт. Это давало свободу действий. И всё же она не решилась на полный разрыв. С собой взяла самое необходимое, давая понять, что ещё вернётся.

Кончался февраль, было солнечно, снега пятнали праздничные синие тени — предвестники весны. Но душу пронизывала осень. Йон довёз Ульяну до автобусной остановки. Она поправила его выбившийся красно-синий шарфик, молча кивнула и, поднявшись в салон, обернулась. В глазах его стояли слёзы.

На жительство Ульяна устроилась в том же столичном пригороде, где находилась Ларкина гимназия. Работу нашла в студии дизайнера — она располагалась поблизости от учебного заведения. И квартирку сняла поблизости. Теперь её мир замкнулся в треугольнике. В памяти мелькнул Бермудский... Но она сразу отвела эту мысль. Для опаски не виделось никаких оснований. День в закрытой гимназии был расписан по минутам. Педагоги, воспитатели не просто доглядывали за подопечными — они замешивали такую густую рабочую среду, в которой места для безделья и глупостей просто не оставалось. Конечно, порядки тут были не домашние, жёсткие, и наказания существовали... Но, разочаровавшись в докторе Споке, Ульяна заключила, что именно так и надлежит выправлять этот природный выверт, который возник в психике и характере её дочери.

По воскресеньям Ульяна собирала детей у себя. К столу готовила что-нибудь вкусенькое, их любимое: Лариске, например, драники, Серёжке — грибную запеканку. А завершала день непременно презентами: то безделками, сувенирами, а то нужными в их обиходе вещами, даря кашне, перчатки или носки...

За дочерью в гимназию Ульяна отправлялась сама, а обратно, держа Лариску буквально за руку, отводил Серёжка.

Лариска была смиренная и послушная. Прилежно обедала, всегда благодарила: спасибо, спасибо, глаза потупленные, причёсочка — волосок к волоску, прямо-таки пай-девочка. Ульяна, конечно, чувала, что смирение это сделанное: в тихом омуте черти водятся. И всё-таки даже внешние перемены, пусть и преувеличенные материнским ожиданием, грели её наступившее сердце.

Прошла зима, минула весна. Подходил к концу учебный год. Ларка сдавала зачёты, экзамены, была озабоченная, искренне переживала за результаты. Всё это радовало Ульяну. Ей верилось, хотелось верить, что перелом наступил. И, когда в конце мая в гимназии стали создавать группы старшеклассников для поездки в трудовой кемпинг, Ульяна, помешкав, согласилась. Пусть едет. Коллективная работа в юности — это и праздник, и соревновательный задор, и взаимопомощь, и закалка характера... Именно так Ульяне вспоминалась деревенская сенокосная страда. Овода, жарынь, пот градом, а всё равно хорошо. Ты в работе, ты на виду, грабли так и мелькают в твоих руках. Не отстать, убрать сено, куда ведро... А тут — виноградники (“the students are invited to harvest fruit”), два месяца солнца, моря и здорового труда. Для Ларки это будет поощрением, знаком доверия и примирения. А порядок там гимназия гарантирует. Помимо педагогов — строгих матрон и воспитателей — бывших военных и полицейских, там, в Бретани, будет целое отделение секьюрити. Тут мышь без спросу не проскочит. Так думала Ульяна и не сомневалась, что так оно и будет.

И что же...

Недели не прошло, как раздался звонок:

— Фру Ульсен, ваша дочь самовольно покинула территорию кемпинга.

— Что?! — вскрикнула Ульяна. — А вы-то куда смотрели? — И кинула трубку.

В Нант она вылетела первым же самолётом. Да что толку! Дочери и след простыл. Все эти матроны и бывшие сержанты только руками разводили. Розыск результатов не дал: то ли похитили — мало ли охотников, киднепинг во всём мире... то ли сама... Через пару дней на мобильник Ульяны пришла эсэмэска: “Я на Канарах. Здесь жара. Всё о’кей!” Запрос в полицию Санта-Крус не поспел. Была в одном из отелей, сутками раньше съехала с каким-то молодым человеком. А куда — неизвестно. Ещё через три дня Ларка известила, что она в Америке, посреди США. Ещё через день: “Здесь ранчо. Крутом лошади, бизоны”. А следом и вовсе уж несусветное: “В пятницу свадьба”.

Ульяна от всего происшедшего потеряла речь, у неё отнялся язык. Она оцепенела и только без конца мотала головой, как от нестерпимой зубной боли.

“Молодой человек...” Какой молодой человек? Где и когда спнохались? Может, алжирец, с которым Ларка в открытую лизалась возле арт-хауса? Такой смазливый и тем неприятный... Он и в театре, и в футболе, и в политике... В театре не видела. Но о прочем слышала, — левак. И в футболе, и в политике. И там и там играл левого крайнего или крайне левого... Тот ещё артист...

Так думала Ульяна, перебирая версии, пытаясь стыковать возможное и невероятное. Ей всё ещё казалось, что это розыгрыш, такая игра, пусть и злая, или, по крайней мере, блеф. Ларка где-то недалеко и скоро объявится. Не сегодня — так завтра. Или здесь, в Нанте, или там, в Норвегии.

Что делать, рассудок редко совпадает с телесностью. Нутро сотрясает боль, а рассудок спасительно тешит иллюзиями.

Всё закончилось через день. В пятницу на мобильник Ульяны пошла прямая трансляция: собор, пастор, молодая пара, на нём — чёрная тройка, на ней пенное платье, флёрдоранж. Родственники обычно снимают суетно, импульсивно, а то и трясутся руками, поминутно меняя ракурсы. Тут чувствовался профессиональный оператор: всё было чётко, подробно, много крупных планов. Но глядя на это — в режиме *on line* — действие, Ульяна никак не могла взять в толк, почему это ей показывают. Ей даже казалось, что демонстрируется какое-то кино, где актриса, играющая невесту, похожа на её дочь. Пока, наконец, не дошло, что это не кино, не имитация, а чистая правда. И тогда рассудок Ульяны заволокло туманом...

\* \* \*

В состоянии оцепенения, потерянности Ульяна вернулась в Норвегию. Целыми днями она сидела взаперти, уставившись в одну точку. Поделиться горем ей здесь было не с кем. Сын находился на летней практике в Скандинавских горах. Йон для излияний не годился — сам был жертвой. А сходных душ здесь, в предместье столицы, она завести не успела. Вот и маялась одна-одинёшенька.

Однажды, чтобы прервать гнетущую тишину, Ульяна включила телевизор. На экране шла прямая передача. Двое собеседников-мужчин и между ними переводчица. Кайя — узнала Ульяна и тотчас позвонила на студию.

## 13

С Кайей Ульяна познакомилась год назад. В Северной Норвегии проходил семинар с весьма мудрёным названием, где перемешалось всё — литература, история, этнография, социология и ещё бог весть что. Одно из заседаний проводилось в их городке. Не потому, разумеется, что здесь сложилась какая-то известная научная школа, а лишь потому, что тут имелся просторный и современный, европейского уровня арт-хаус.

В актовом зале Ульяна находиться не могла — она занималась выставкой своих подопечных, которую накануне, в самый последний момент, ей предложили устроить в ближнем холле. Впрочем, она и не стремилась туда. На таких встречах не возникает жарких дискуссий. Это не студенческая аудитория времён её юности и тем паче не перестроечная митинговщина, где доходило до кулаков. Тут обычно чинно и благообразно или, как стали выражаться с некоторых пор — политкорректно. Так же, как и на здешних студенческих тусовках. Как бывало и у неё в студии, где никто не повысит голоса, где закон — толерантность, и потому исключена критика, а возможно только ласковое поглаживание по шерсти, хотя подчас на мольберте — жалкая мазня.

На сей раз, видимо, что-то сложилось не так. Наступил перерыв. Первой из распахнутых дверей вылетела маленькая, хрупкая женщина. Именно вылетела, точно взьерошенный воробей. Мельком глядя на развешанные акварели и карандашные рисунки, она пробежала вдоль стены и остановилась возле деревенского пейзажа. Ульяна, заключив, что понадобятся пояснения, подошла ближе. Однако в ответ на учтывую фразу услышала не вопрос, как



ожидала, а пространную тираду, которая по тональности напоминала не чирикание озабоченного воробышка, а, скорее, треск скворца, возмущённого тем, что кто-то занял его скворечник.

Оказывается, возмутителем спокойствия стал питерский профессор, доклад которого этой особе досталось переводить. Ульяна насторожилась. Речь шла о декабристах, о “Северной повести” — произведении пусть и плохоньком, теперь забытом, но ведь Паустовского же — перед ним Марлен Дитрих стояла на коленях, о чём свидетельствует фотография. Ульяна озадаченно поджала губы. Экая пигалица! Твоё ли дело оценивать чужие выступления? Ты — толмач, сугубо технический работник, вот и выполняй свои обязанности.

Переводчица, видать, что-то почувствовала, коротко — снизу вверх — взглянув на Ульяну, но не сбилась, лишь немного пригасила тон да, услышав одну географическую поправку, тут же перешла на русский, который заметно замедлил её речь. Донимало её не то, что докладчик, следуя новым тенденциям в оценке истории, крыл декабристов, а то, что двадцать лет назад — она сама слышала — точно так же крыл самодержавие и империю. Вот что, оказывается, её возмутило больше всего.

Они стояли против деревенского пейзажа Петра Григорьевича. Этот выполненный по памяти сельский вид странным образом свёл их, соединив — по крайней мере в стекле — их взгляды, и притягивал, и не отпускал, побуждая к разговору.

Больше говорила она, эта пигалица, этот растрёпанный воробушек. Мелкие, и впрямь птичьи черты её лица оживлялись и обретали какую-то особенную значимость, какая запечатлевается на облике любого человека в минуты вдохновения. А тут ведь речь шла о декабристах, точно далёкие отсветы давно утихшей бури касались её лица.

О декабристах она говорила так, как судачат о порядковых соседях или двоюродных братьях, которые маются похмельем — ни больше, ни меньше — и попрекая, и одновременно сострадавая им. Нанюхались в Париже воспарений вольницы, и стал им грезиться тот самый призрак, который уже бродил по Европе. И потащили они этот мираж в перемётных сумках да на загорбках сюда — она кивнула на русский вид.

Замечала ли она, что противоречит сама себе, в чём-то повторяя сентенции того самого профессора-конформиста? Скорее всего, нет, ведь она-то не меняла своих взглядов.

За спиной собеседниц доносился говор, звякали чашки и ложечки — всю шёл кофейный перерыв. А они почему-то продолжали стоять возле незатейливого русского пейзажа, словно без него невозможно было общение. Потом, правда, перешли к столику, однако пейзаж старика всё равно оставался перед их глазами, и время от времени они поглядывали на него, будто в нём искали подтверждения своим словам и мыслям.

От декабристов разговор перешёл к их жёнам. Ульяну озадачила оценка собеседницы. Подвиг жён, сказала она, с ментальной точки зрения более весом в сравнении с демаршем самих декабристов. В их действиях была половинчатость, недоговорённость, недоделанность. Вспомнить хотя бы князя Трубецкого. Ведь он так и не вышел на Сенатскую площадь. Диктатор — стало быть, вождь, а выходит, предал либо одумался, раскаялся, смалодушничал... Но... не вышел. А у жён полная бескомпромиссность и абсолютное христианское самопожертвование. Ульяна пожала плечами: даже несмотря на беспорядочную жизнь иных декабристок в Ялтуторовске, Чите, на Петровском Заводе? Даже! — одними глазами отозвалась собеседница. Уж не феминистка ли она? — такой вопрос мог возникнуть помимо воли. Нет, словно прочитав эту мысль, покачала головой переводчица: она не из тех, не из “синих чулков”, она вдова, муж несколько лет назад погиб...

Вот после этого они и познакомились, “обменявшись верительными грамотами”. Оказалось, что в пернатости Ульяна не ошиблась. Правда, воробушек обернулся чайкой — так по-эстонски переводится имя Кайя.

Кайя Пенса, едва ли не последняя в советские поры эстонка, окончившая филфак Ленинградского университета. Она готовилась к переводческой деятельности: ей прочили место в издательстве “Ээсти раамат”. Однако

с развалом Союза развалилась и книжная индустрия. В государственный пул, как называют правительственных толмачей, она не попала. Место престижное, хлебное — охотников прорва, да все представительные. Где ей, пигалице, было пробиться через бастионы крепких спин и редуты острых локтей! Зато повезло в другом. Знание всех основных скандинавских языков плюс английский и русский сделало её незаменимой на всяких неформальных международных встречах, где собираются писатели, художники, лингвисты, деятели культуры... Тут она нарасхват и мотается из конца в конец Скандинавии, иногда наезжая в Англию, Данию или в Россию.

## 14

Кайя, одинокая душа, тоже обрадовалась встрече. Объяснять ей, что да как, долго не понадобилось. Она живо прониклась состоянием Ульяны. Но как помочь?

Пыталась пронизировать, вспоминая обстоятельства знакомства, вернее, концовку первого разговора. Жёнки-декабристки на восток ехали, к мужьям своим. Теперь русские подвижницы рвутся на Запад и в Америку. Зачем? — одними глазами спросила Ульяна. Улучшать породу, отвечала Кайя. Это она так объясняла бегство Лариски. Ульяна даже не хмыкнула — у неё что-то случилось с лицом, оно будто окаменело.

Тогда Кайя подошла с другого боку. В одном научно-популярном журнале она увидела генотипы американцев и от этого вида пришла в ужас. Фотографии мужчин и женщин 50-х годов, наиболее спокойный и относительно благополучный период во всём мире, накладывали одна на другую.

— У нас, по Союзу, — Кайя не то чтобы поперхнулась, а решила уточнить, — вернее, по Северу, в твоих местах, всё ясно и чётко: глаза, нос, губы — единый генотип, и мужской и женский. А в Америке, — она для убедительности вытаращила глаза, — сплошной кошмар, какие-то кикиморы и вурдалаки, глаза на лбу, губы всмятку и у мужиков, и у баб. Жуть, а не генотип! Вот Господь и поручил русским барышням улучшать обезображенную американскую породу.

Тут бы Ульяне улыбнуться, кивнуть, а ответом получилось лишь дрожание губ. Ничего не выходило у Кайи, никак не удавалось вывести Ульяну из уныния. И тогда, немного помешкав, Кайя прибегла к радикальному средству.

— Ничто так не сбивает хандру, как дорога. Охота к перемене мест — верное средство обмануть мерлихлюндию. Ипохондрия обожает домоседов, застой в мозгах и в мышцах — её питательная среда. Поэтому вперёд — куда глаза глядят, а там видно будет!

Куда же увлекла новая подруга Ульяну? Да в Эстонию, на свою родину. Она везде, кажется, чувствовала себя как дома. Но здесь-то, в Таллине, она именно дома была.

Они пересекли Балтику на пароме Viking Line. Вечером были в Стокгольме, а утром очутились в эстонской столице. Тут Кайя повела себя не просто как радушная хозяйка, а как тренер, которому необходимо, чтобы её подопечная досконально выполнила всю намеченную программу. Они облазили Вышгород, весь старый город (“Ваня Сталин”, включая в речь старые анекдоты, комментировала Кайя), навещали пивные погребки, осматривали музеи и снова бродили по древним улочкам.

— Вот здесь снимали “Озорные повороты”, — показывала Кайя. — Вот там “Нечистый из преисподней”. Но кто сейчас помнит эти фильмы?

Они много чего осмотрели, бродя по Таллину. Однако прежде рано утром, взяв прямо в порту такси, Кайя увлекла подругу на кладбище. Она поминала, что родителей у неё нет, но не поясняла. И вот теперь открылись подробности.

Оказалось, что семьи её родителей — ближние соседи — сразу после освобождения Прибалтики были репрессированы. А осудили крестьян да потомственных рыбаков за то, что сдавали часть выловленной салаки на немецкий склад, то есть, как значилось в приговоре, сотрудничали с оккупационным режимом. Но кто из тех судей-буквоедов объяснил, а каким образом

можно было отказаться от такого сотрудничества. Изрезать сети? Не выходить в море? Обречь детей на голодную смерть? И будто неизвестно было, как немцы поступали с послушниками и нарушителями их ордунга. Доводы несчастных судьи не услышали, не удостоили их внимания. А итог обычный: в вагоны — и на восток.

— С одного острова — на другой, — поджала губы Кайя. — С Сааремаа — на Сахалин, — она выделила первые слоги паузами, словно соединила звенья цепи.

Кайя с Ульяной стояли возле ухоженных могил, увенчанных небольшими надгробными плитами. Кругом было чисто и аккуратно — не чета кладбищенской расхристанности в России — видно, что здешние служители исполнили свои обязанности добросовестно и честно.

Кайя поставила в низкую вазочку алые тюльпаны.

— Они были совсем детьми — по восемь лет, — прошептала Кайя. — Самое страшное, вспоминала мама, — Кайя подавила горловой спазм, — самое страшное, когда их разлучали с родителями...

Ульяна мысленно перевела возраст на своих детей. Когда Серёже было восемь, а Ларке, стало быть, три, она, мать, в отчаянии наглоталась таблеток... Господи! Какая же она была дура! Что стало бы с ними? Как бы они себя повели? И выжили бы?

О том, что стало с детьми теперь, на ту минуту Ульяна забыла.

Юхан и Марта, тихие и застенчивые, когда их оторвали от отцов-матерей, ухватились за руки, почувяв всем нутром своим, что в этой сцепке их единственное спасение. По сути, они так до конца и не разомкнули рук. И в пересылке, и в детдоме — это была Чита — они держались всегда вместе, точно брат и сестра. Вместе, уже в юности, вернулись и на родину. Родители их сгнули, оставшись на том далёком, похожем на акулу острове. “Акула проглотила их”, — сказала Кайя. А наследники выжили, выросли и поженились. Детей у них долго не было — годы неволи и испытаний не прошли даром. Но любовь и нежность всё же взяли своё.

— Как там в русской сказке, — тихо улыбнулась Кайя, — поскребли по сусекам и слепили...

— Крошечку-хаврошечку, — подхватила Ульяна.

— Крошечку, — кивнула Кайя. — Имя сразу дали. У обоих матери Кайи. Кого же чайками называть, если не рыбацких дочек? А я, — она вздохнула, — и не рыбацка, и называть мне некого...

Уходя с кладбища, подруги не стовариваясь обернулись. Перед вазой, что стояла между могил, мерцал в плоске огонёк свечи. А тюльпаны, такие прямые и строгие, рассыпались на две стороны, точно надгробья соединились радужкой вольтовой дуги.

А в довершение долгого таллинского дня они побывали и на русском кладбище. Кайя о таковом сначала упомянула, а потом, пристально посмотрев на Ульяну, и увлекла, загоревшись показать ей могилу русского поэта Игоря Северянина.

Тут в познаниях Ульяны обнаружился пробел — она этого не скрывала. Большого интереса, по правде говоря, у неё не было: устала, да и мысли горькие не отпускали. Однако имя, для неё дорогое, и родственный по корням и географии псевдоним всё же настроили. А уж Кайя тут расстаралась. Она вызвала по мобильнику такси, да не абы какое, а раритетное — то ли “порше”, то ли “додж”, на котором, как гласит легенда, Игорь Северянин подъезжал к гостинице “Золотой Лев” на банкет в честь Ивана Бунина, и было это 7 мая 1938 года, то есть 70 лет назад. Ульяна недоверчиво покачала головой, но спросила о другом: откуда у неё, эстонки, интерес к русскому поэту. Оказалось, что увлечение русистикой и вообще филологией началось у неё с творчества именно Северянина: сперва как протест, возражение против официоза, ведь стихи его не издавались и были полузапрещены в Советском Союзе, а потом эта поэзия стала частью её души.

Могилка поэта оказалась неподалёку от входа. Кайя положила к мраморной пирамиде свежие розы, которые купила возле храма, пояснив, что поэт ждал таких от родины, и принялась читать стихи.

Что-то пряное, изысканно-витиеватое слышалось Ульяне в этих звуках. Ландо... гризетка... “в будуаре надушенной нарумяненной Нелли...”. Веяло холодом, жеманством. Это было чуждо Ульяне. Кайя заметила холод и переменила звукоряд.

*— Я вскочила в Стокгольме  
на летучую яхту —  
на крылатую яхту  
из берёзы карельской...*

Это про нас с тобой. Верно? А ещё:

*Дай рябины мне кисточку,  
ненаглядная Эсточка...*

Это обо мне. А?! А вот это:

*Она слышна — она видна:  
В ней всхлипы клюквенной трясины,  
В ней хрусты снежной парусины,  
В ней тихих крыльев белизна —  
Архангельская тишина...*

Чуешь, о чьей стороне?

В храме они поставили свечки, а в книжной лавочке близ кладбищенской обители оказался сборник стихов. Открыв наугад синюю книжку, Ульяна прочла:

*И будет вскоре весенний день,  
И мы поедem домой в Россию...  
Ты шляпку шёлковую надень:  
Ты в ней особенно красива...*

*И будет праздник... большой, большой,  
Каких и не было, пожалуй,  
С тех пор как создан весь шар земной,  
Такой смешной и обветшалый...*

*И ты прошепчешь: “Мы не во сне?..”  
Тебя со смехом ущипну я  
И зарыдаю, молясь весне  
И землю русскую целю!*

В горле запершило. Ульяна захлопнула книжку, помотала головой. Кайя пристально посмотрела на неё, но ничего не сказала, только часто-часто заморгала сама. А потом, немного погодя, поведала, что Северянин случайно оказался в эмиграции. Думал переждать здесь, в Эстонии, и революцию, а потом и Гражданскую войну, да назад, в Россию, пути уже не оказалось. Бедствовал, тосковал по Родине, а назад вернуться уже не довелось...

Довелось — не довелось... Об этом Ульяна думала всю дорогу, когда они возвращались назад в Скандинавию. Кайя из каюты не выходила: она плохо себя чувствовала, Ульяна гуляла по палубам одна. Посередке Балтики ей вспомнился рассказ Бунина “Господин из Сан-Франциско”. Трюм. Цинковый гроб. В России теперь редко говорят “покойный” — “груз двести”. Впервые она услышала этот термин тогда... Господи! Сколько же лет прошло!.. Она всхлипнула, зажала рот, опасливо покосилась. Никого возле не было. Люди либо спали, либо веселились в глубине парома — в барах да на дискотеках. До господина из Сан-Франциско как тогда, так и теперь никому не было никакого дела.

Ульяне представилось, что вот в таком цинковом гробу возвращается на Родину, куда в мыслях беспрестанно устремлялся, Пётр Григорьевич. Утешилась бы этим его душа? Наверное. Но и закручинилась бы... Ведь никто, совершенно никто не навещал бы его могилку, даже если схоронили бы в родных местах. Разве что сама душа, да и то до сорокового дня, а если Господь услышал её, Ульяны, стенания, до исхода уходящего лета...

В этот миг сознания коснулась... паутинка. То есть не сознания — виска. Откуда здесь-то? — отозвалось мимолётно. Отозвалось да тут же, кажется, и забылось.

Ульяна подняла взгляд к звёздному небу. Отыскала Полярную. Интересно, узнает ли старик всю глубину небесного цвета?

## 15

За лето Ульяна мало-помалу пришла в себя, немного поуспокоилась, остыла, благо какая-то информация от Лариски, пусть и не регулярно, с паузами, поступала. То эсэмэска, то фото, то видео. Вот эпизоды свадебного путешествия: Лонг-Бич — океанский пляж, бунгало в кемпинге для молодожёнов, аквапарк, аттракцион “русские горки”... — всё это в Калифорнии. А здесь уже посередке Америки — в штате Айова. Это семейное ранчо, уголья которого простираются до горизонта, — снято с высоты частного самолёта; это конюшня, у коновязи — породистая кобыла с жеребёнком; это просёлочная дорога, по сторонам которой кукурузные поля... И везде, в каждом сюжете — Лариска, её дочь. Хоть и странным всё это казалось, нереальным, но фотографии подтверждали: Лариска, её непутёвая дочь, — жена вот этого верзилы-ковбоя, который скалит свои лошадиные зубы.

С летней производственной практики, которая проходила в Скандинавских горах, вернулся Серёжка. Как всегда, немногословный, строгий, сосредоточенный. На лбу ранняя поперечная складка. Похож на своего отца, но по характеру жёстче, суровей. Не юноша, тем более подросток, какими нередко выглядят его ровесники, а мужчина.

Посадив сына за стол, Ульяна принялась кормить его и меж переменой блюд, не торопясь, поведала о главной семейной новости, стараясь не выдать своей горечи. Удалось ли ей это, так и не поняла. Заметила только, что складка меж густыми бровями сына углубилась. На мобильные фотографии он глянул вскользь. Чуть дольше задержался на портрете свояка-американца, обнимающего морду лошади. “Не отличишь”, — сказал как припечатал. А потом выложил свою новость.

Ульяна не сразу поняла, о чём речь. Сперва показалось, что это продолжение предыдущей реплики: шляпа на голове ковбоя давала массу поводов для словесных упражнений. Потом почувствовала какую-то причинно-следственную связь: не вид ли ковбоя с кокардой на шляпе явил эту фразу? И только после, с трудом, наконец дошла суть: Сергей решил бросить университет — это первое и пойти на военную службу — это второе.

В сознании Ульяны от всего этого произошло полнейшее замешательство. С трудом подавив подступившие слёзы, она сосредоточилась на главном, а главным, как ей представлялось, была для него учёба. Позади третий курс, до профессии рукой подать. Тут бесплатное жильё. Тут стипендия, которая выше её зарплаты. Доучись, получи диплом, а там как знаешь... Это ли не доводы в житейском раскладе? Она ведь знала его упрямство, его своеволие и самолюбие, потому, подавив свои эмоции, старалась убеждать логикой. Увы, на сей раз это не удалось. Прежде он слушал её, сын. Слушал и слышал, что внушала она, мать. Внимал и нередко соглашался или, как ещё совсем недавно, делал поправки в своих планах. А теперь не стал даже объяснять. “Всё! — сказал, будто отрезал. — Я так решил. Так надо! И больше не будем об этом!”

До самого конца Ульяна не верила в предстоящее. Сын проходил медкомиссию, согласовывал отчисление, утрясал финансовые дела. А она не верила. Такого не может быть. Такое не должно случиться. Это никак не умеща-

лось в её сознание и житейские представления. Не верила до конца. Пока не увидела его в военной форме.

Дома говорили: есть такая профессия — Родину защищать. А тут чего? Потом успокаивала себя: дескать, правильно — по стопам деда и отца. А о том, в какой армии служили они и в какой сын, Ульяна старалась не думать. Когда человек в смятении, он во всём находит оправдание.

Служить Сергея направили на самый север Норвегии, к русской границе. В аэропорту, провожая его, Ульяна крепилась, старалась не подкачать, даже, кажется, шутила, но, вернувшись домой, зашла в рыданиях.

Вот так же когда-то она провожала в неизвестность Игоря, отца Серёжи. А провожая, залила слезами парадный мундир, который укладывала в его чемодан. Этот мундир Игорёк надевал всего один раз, когда получал лейтенантские погоны. Второй раз облачение планировалось через месяц, когда им предстояло идти в загс. Увы! Планы их житейские нарушил военный приказ: "...командировать лейтенанта Доронина для прохождения дальнейшей службы в расположение ограниченного контингента советских войск в Афганистане". И никаких отсрочек!

Да, так это было. Горячий ветер "афганец" тугим арканом выхватил её любимого и унёс неведомо куда. Открытка с дороги, письмо из дальнего афганского гарнизона — и всё. Больше не было ни слуху ни духу. Слушала новости, кидалась к газетным стендам, прощупывая скудные строчки ТАСС, — ничего. Обращалась в военное училище — там выслушивали, но пожимали плечами. Наконец, бросилась в военкомат: где искать? куда обращаться? А там — отпор: "Нечего вам тут делать, барышня! Вы кто ему? Что? Кольцо? При чём здесь кольцо?! Штамп есть?.. Нет? Ну, так чего же вы?.. Нечего, нечего!.. Покиньте! Не положено!.."

Ульяна была на восьмом месяце беременности, когда узнала, что в военном госпитале есть палата "афганцев" и там, кажется, лежит сослуживец Игоря. Пробиралась в закрытый госпиталь задворками: с большим животом перелезла через забор, проникла чёрным ходом на второй этаж... В палате, куда попала, лежали "обрубки". Сопровождавшая медсестра — добрая душа — предупреждала, но то, что Уля увидела... Мальчишки, совсем мальчишки. Худые — кожа да кости — без рук, без ног... Только глаза...

Сослуживец Игоря лейтенант Матюшин лежал у окна. В их выпуске Матюшин был правофланговым. А теперь... Простыня, что покрывала его, с половины кровати была пуста. Садись, показал Матюшин воспалёнными глазами на эту пустоту. Сесть туда Ульяна не смогла, но объяснилась иначе, коснувшись живота, дескать, никак, трудно. Матюшин — опять же глазами — спросил: от него? Ульяна поджала дрожавшие губы. Он с силой зажмурился, словно задавил в себе что-то, с минуту лежал не шевелясь, потом открыл глаза, но в лицо её уже не смотрел, глядел в небо. Игорь погиб в первом же бою. Пытался спасти своих бойцов, вытащить горящий броник, но их БМП тоже накрыло. Прямым снарядом. Сразу и всех...

Что было дальше, Ульяна почти не помнила. В тот же день начались схватки. Увезли на "скорой". На другой день, потеряв много крови, она родила. Ребёнок был недоношенный, слабый. Да и сама обессилела. Хорошо ещё, что молоко не пропало. Заставила себя ни о чём не думать — только о чаде. Стиснула зубы, собрала волю и ни о чём более. И с Божьей помощью да стараниями многочисленных повитух выходила сына.

Выписалась Ульяна из роддома через два месяца. Сразу свалилась масса житейских забот, которые осложнялись безденежьем. Одно её утешало в те дни: глазёнки сына. А ещё радовалась, что успела сдать экзамены и защитить диплом. Но в остальном жизнь приходилось начинать с чистого листа.

Первым делом Ульяна собралась съездить домой. Где искать утешения и житейской передышки, как не дома, среди родни? О своём нынешнем положении и о том, что стряслось за минувший год, она никому не сообщала. Даже — папушке. А зря. Уж кто-кто, а он-то, родимая душа, понял бы её и, случись нужда, — оборонил бы и от наветов и от косых взглядов. Утаила, оставила на потом... А утаив, подставилась. И сама подставилась, да, выходит, и младеню-сынка подставила.

На Игоря, видного парня, будущего офицера, заглядывались многие девицы. Она это видела. Но никак не думала, что кто-то из них, обделённых его вниманием, станет мстить. А оно вон как всё обернулось!

Молва, что сорока, летит поперёд тройки. Коварный слух пришёл в деревню по весне. Загуляла, дескать, Улька Артамонова, учёбу бросила, с брюхом ходит. От этой чёрной вести папушка слёг. Лежал пластом три недели. Фельдшерница делала что могла, но, видя, что уколы не помогают, повезла его в областной центр — в госпиталь для ветеранов. Вот каким боком тот навет-то обернулся.

Уля приехала домой через три дня, как увезли папушку. Вот уж действительно беда не ходит одна. Она, Уля, по всему, виновница несчастья, явилась не запыхавшись как раз на пик семейной недоли. Да в аккурат под горячую руку суровой матери.

Ух, как разгорячилась кондового посла-замеса поморская жёнка! Как накалилось-вскипело сердце старого закала! Встряла дочку на крыльце, руки в боки: “С выб...ком ни на порог! Где подолом мела, туда и ступай!” — И дверь перед носом хлопнула.

Так вот в наших палестинах постоянно дееся: то гражданская война, то отечественная, то опять гражданская, пусть и в пределах родного заулка.

Что было делать Уле? К братьям-сёстрам, что женаты были, не пошла, чтобы не подводить их перед матушкой, хотя знала, пусть утайкой, — не отказали бы. Переночевала у Паладьи, порядовой соседки, улив слезами подушку, да наутро поспешила к автобусу, чтобы ехать в областной центр и там уже вместе с сыном мыкать вдовью да сиротскую долю...

...Выплакалась Ульяна, проводив на военную службу Сергея, и заключила, что это, возможно, судьба. Внук солдата, сын солдата, он — наследник их крови. А голос крови, пусть и безмолвный, говорят, самый упорный.

## 16

Узнав о переменах, стал чаще звонить Йон. Ульяна с благодарностью принимала его участие, но от возвращения уклонялась. “Но почему? — допытывался он. — Ведь теперь ничего не мешает. Дети в опеке не нуждаются. Ты свободна...” “Да, свободна, — нехотя соглашалась она и вздыхала. — Где волей, где неволей...” Однако для себя заключила, что в обоих случаях всё-таки неволей. А что мешало вернуться, она и сама не могла объяснить. Обида? Горечь предательства? Душевный раздрай? Не переломила, как ни пыталась, ситуацию, не сумела повлиять на дочь, то есть так и не разрешила того, чего ради сорвалась год назад, а если отбросить словесную шелуху — проиграла. Вот, пожалуй, была главная причина. А ещё сдерживало то, что, быть может, в итоге её тщетных усилий возникла неожиданная цепная реакция. Ведь Сергей бросил учёбу уже после бегства Лариски. Может, готовился раньше, но той самой “последней каплей” стало именно это — побег сестры. Норвежский юноша, находясь на третьем курсе университета, такого бы ни при каких обстоятельствах не выкинул. А в сыне, видать, забубнила его русская кровь и вспыхнул бунт, тот самый, “бесмысленный и беспощадный”...

Прощаясь, Йон всякий раз желал ей здоровья, но не так, как это делают сухопутные люди, а особым морским способом. “Держи горизонт!” — напоминал он.

Впервые Ульяна услышала это на борту яхты, которую Йон взял напрокат. В тот первый для их семьи выход в море — не в фиорд, а в открытое море — её укачало. Она лежала пластом на банке в кокпите и молила лишь об одном: быстрее бы всё окончилось, скорее бы ступить на землю. Вот тогда, оставив руль на пятнадцатилетнего капитана — так они потом называли Серёжку, — Йон спустился в каюту, силой заставил её подняться и вытащил наверх — под ветер, под хлёсткие солёные брызги. Стоя на зыбкой палубе, Ульяна мутными глазами озираала окрестности: кругом была вода, одна вода и никакого просвета в свинцовом низком небе. Йон сунул ей в рот кусок круто посоленного хлеба, заставил разжевать, хотя её тошнило и не раз уже вы-

вернуло. “А теперь гляди вперёд, — приказал Йон, — и ищи горизонт. Держи горизонт! — повторил он. — Гляди и не отпускай из глаз горизонта. Это твоя опора!” Голос был жёсткий и уверенный. Она подчинилась. Да и как тут было не подчиниться! Сделав усилие, Ульяна разлепила мутные глаза, отыскала эту самую линию, отделяющую небо от моря и море от неба, и вцепилась в неё взглядом. Ухватившись за ванты и качаясь на пляшущей под ногами палубе, Ульяна до рези в глазах цеплялась за эту тонкую зыбкую нитку. И — чудо не чудо! — но что-то изменилось: стало легче дышать, ушла куда-то брюшная свистопляска, мышечный студень обрёл упругость. Ульяна обернулась, поймала взгляд Йона и благодарно улыбнулась ему, пусть покуда ещё и вымученно.

“Держи горизонт!” — заклинала сама себя Ульяна, стоя на зыбкой житейской палубе. Дети её были далеко — за горизонтом. Но у них с нею была одна земля, одно небо и, как бы на это ни смотреть, — одна линия горизонта.

Что ещё вырвало Ульяну в минуты отчаяния, так это подарок Петра Григорьевича — его скромный незатейливый пейзажик. Она называла его “Домик восходящего солнца”, а то “Папушкина обитель” — в зависимости от настроения или времени суток.

Эту работу Пётр Григорьевич начал ещё до того, как перевернулась её жизнь, когда она изредка открывалась ему, рассказывая о детстве или юности, а завершил в самую горестную пору, когда она изливала ему свою душу, вспоминая всё, что с нею было. Вот тогда из набросков, этюдов, эскизов и возник этот пейзаж: дом с коньком, окна передней, крытое крыльцо, тонкую резьбу на котором, как и на наличниках, навёл незабвенный папушка.

Вот тут, на крыльце, папушка тогда сидел. Он был чем-то расстроен, тяжело курил, кашлял, а она, дочка, гладила его плечо, осторожно касаясь ямки от разрывной пули. “Лёгкая у тебя рука, Улюшка, — тихо улыбался папушка. — В госпитале у нас сестричка была... махонькая такая... Вот тоже, коли невмочь, её кличут... Уколы, бывало, не помогали — она выручала...”

Ульяна замечала изъяны в работе Петра Григорьевича, что стояла на комодике. Он был всё-таки не профессионал. Да и зрение под конец подводило. Зато на полотне сбереглось то, что напоследок затухающим родничком источало его усталое сердце — нежность, печаль, сострадание. Может, потому при взгляде на картину Ульяна всякий раз обретала утешение, пусть слабое, крохотное, но всё-таки утешение. А ещё это полотно всякий раз отворяло её память. Ей являлись картины давно забытого и, казалось, навсегда утраченного, канувшего в небытие. Да ещё как являлись! — полными шелестов, жужжания, посвистов и мычания, овеванные крепким духом черёмухи, зноем житного поля, пряным духом клеверной кошенины. А лица! Папушкина ласковая, чуть застенчивая или виноватая улыбка. Раечкины ямочки на щеках. Глаза братьев и сестриц. Матушкина вечерняя неторопливость и шелест гребня, расчёсывающего её густые ворона отлива и тронутые седойной волосы.

## 17

Кайя, продолжавшая опекать Ульяну, увлекла её в Швейцарию, благо подвернулся льготной авиарейс. Это было ещё до введения общей валюты. Там, в Берне, они кинули пенс — “фамильный” талисман Кайи Пенсы: выпадет орёл — махнут направо, во Францию, а решка — налево, в Австрию. Выпала Вена. Ульяна вначале пожалела — она предпочла бы Париж, но потом восприняла случайность не иначе как удачу.

В австрийской столице она впервые увидела то, что доселе знала лишь по репродукциям, притом не всегда качественным — работы Ван Дейка, Вермеера, Дюрера, Рубенса... Но особенно поразил её Брейгель — “Охотники на снегу”. И не только потому, что прежде знала это полотно лишь по открытке. Что-то загадочное и одновременно знакомое, точно давно забытое или будто предстоящее — вот что увиделось ей. А ещё, наверное, вселил неожиданную тревогу буклет: репродукция “Охотников” была поваплена алым пятном — эмблемой выставки.



В Вене было хорошо и интересно, но Кайя, неутомимая натура, потянула подружку дальше. Причём как? Откровенным лукавством. Кайя заявила, что с пенсом она смухлевала — он упал орлом, стало быть, им надо в Париж. Ульяна недоверчиво покачала головой: она же своими глазами видела, что монетка пала решкой. Тогда Кая, напомнив, что она Пенса, села на газон и бесцеремонно опрокинулась навзничь:

— Теперь-то ты видишь, что орлом!

В Париже они побывали везде, куда хватило сил и денег: Лувр, Эйфелева башня, остров Сите... Само собой, не обошли Монмартр — Мекку художников. Тут Ульяна не удержалась. Она подошла к юной художнице, что кропала простенькие профили, попросила карандаш и в считанные минуты набросала её портретик.

— О-ля-ля! — восхитилась та, округлив глаза. — Откуда вы?

— Swedish, — встряла тут Кайя. Ульяна слегка прищурилась, потом написала на портретике и, протягивая его девочке, добавила по-английски:

— Russia. — Это вырвалось непроизвольно.

— О! — отозвалась та и назвала несколько русских художников. Среди них был и Куинджи.

Кайя слегка обиделась:

— Меня ты ни разу не изобразила...

Дружески приобняв её, Ульяна обещала увековечить подружку и в фас, и в профиль.

— То есть и орлом и почти решкой, — уточнила Кайя и опять повеселела.

В блужданиях по Монмартру они остановились возле скульптурного изображения Далиды. Кайя, вспомнив студенческие забавы, пустилась на разные лады обыгрывать имя покойной певицы. Причём по-русски, меняя ударения и разбивая на слоги. Наверное, только на русском оно и звучало так: и загадочно, и романтично, и одновременно скабрёзно. А Кайя к тому же умудрилась пристегнуть сюда и усатого Сальвадора, поскольку фамилия художника входила в имя певицы, словно меч в ножны.

Мужчины, что кучковались возле скульптуры эстрадной дивы, касались её обнажённой груди — это, по слухам, усиливало потенцию. Кайя и тут своего не упустила.

— Нет, милоч, — ни к кому конкретно не обращаясь, продолжала она по-русски, — если уж на живое нет подъёма, то мёртвый камень милостей не прибавит.

Её слегка замедленная с неизбывным эстонским акцентом речь звучала почти научно. В толпе озабоченных оказался и русский.

— А ты почём знаешь? — подозрительно уставился он.

— Далида передавала, — не моргнув глазом, ответила Кайя.

Ульяна от греха подальше утащила её:

— Шуточки у тебя, как у одесского биндюжника или британского пирата.

— О! — тут же подхватила Кайя. — Как у Билли Бонса. Кайя Пенса — внучатая племянница Билли Бонса...

Кайя была в ударе — её несло. И не только в речах. Из Франции, по её настоянию, они махнули за Пиренеи. При этом опять повезло с билетами.

— У нас с тобой прямо-таки “зелёная волна”, — заключила Ульяна.

— Ты имеешь в виду баксы? — в своём духе откликнулась Кайя и уже серьёзно добавила: — Может, это судьба?

В Испании, однако, они выдохлись. Дальше ближнего, восточного побережья не попали. Да и там силы хватило только на самое-самое. Из этого самого, само собой, выбрали парк Гауди и музей Дали.

Ульяна никогда прежде не задумывалась о последовательности знакомства с достопримечательностями — музеями, вернисажами, выставками. Идешь туда, что ближе и во всех смыслах доступнее. А тут что-то вызвало досаду. Гауди они посетили после Дали. И Ульяне почему-то показалось, что надо было наоборот.

На входе в парк они увидели домик сторожа — этакий заварной торт, причудливо облитый сливочным кремом и увенчанный маячком.

— Напоминает улитку, — оценила Кайя. — Улитку, которая выползает из кондитерской, расплатившись одним рогом.

Тут, на входе, путешественницы не задержались — ждали другие чудеса. И они не обманулись в ожиданиях. И площадь, что покоится на дорических колоннах; и мраморная скамья в виде змеи, окаймляющая эту площадь-стол; и крыша, увенчанная короной из глиняных горшков; и точёная башня — шея с монистом из декоративных тарелок; и пиниевая роща, усеянная шишками и хвоей... — всё было ни на что не похоже и удивительно искусно и гармонично.

Ульяна, на многое взиравшая глазами художника, подчас забывалась и глядела вокруг, как первокурсница или даже деревенская школьница, — до того всё было чудесно и сказочно. Жаль, что этого не видят дети, забываясь, вздохнула она — её дети. И тут же осеклась: де-е-ети...

А ещё время от времени Ульяна возвращалась мысленно к домику сторожа. Ей чудилось, что в этой архитектуре заложено какое-то послание. Потому на обратном пути она предложила Кайе посидеть возле сторожки, благо рядом оказалось открытое кафе.

Переполненные впечатлениями, утомлённые прогулкой, подруги сидели молча. Ульяна не сводила с домика глаз. Какая-то навязчивая мысль не отпускала её — округлые стены, скруглённая крыша и этот маячок, увенчанный крестом-флюгером... — пока не подали оранжад. Цвет сока мгновенно соединил несоединимое и несоединявшееся: сторожка и жирафы Сальвадора Дали. Сумасшедший гений здесь в свои поры, конечно, побывал и под впечатлением увиденного, а скорее, в пику архитектору-лирику и вставил в строфу Гауди свою поперечную рифму.

\* \* \*

...Измученные долгим путешествием, Ульяна с Кайей возвращались в Скандинавию. Всю дорогу, пересекая на автобусе Францию, они спали. Очнувшись уже где-то в Голландии.

Огромный бас катил полупустой. В их отсеке осталась лишь одна пассажирка. Это была сухопарая остистая старуха с измождённым перекошенным лицом. То ли подшофе, то ли жизнь её так укатала, но смотреть на неё было неприятно.

Перекусив да попив кофе, подруги оживились и принялись по свежим следам делиться впечатлениями. Начали по-норвежски, а потом, как это у них не раз бывало, перешли на русский. То был момент, когда Ульяна заговорила о сыне. Тут оживилась соседка.

— Старая русская, — сильным голосом отрекомендовалась она. То, что старая, было видно и без объяснений, а вот то, что русская, подруг озадачило. Разговор их немного попрिгас, правда, не надолго. Старуха ведь не вмешивалась в их беседу, только рассеянно слушала да иногда тянула шею, чтобы посмотреть на экранчик мобильного, когда Ульяна открывала фотографии.

Одну из фотографий, развернув мобильник, Ульяна показала старухе. Сергей, облачённый в норвежскую военную форму, был почему-то снят на фоне танка. Видно, все солдаты, особенно молодые, напускают на себя воинственный вид. А ещё Ульяне припомнилось давнее: вот точно так же, развернув армейскую фотографию, показывала сына-солдата, своего первенца, её мать.

Потом речь зашла о Лариске. И снова в ход пошли фотки: это она в Техасе, на мустанге её муж; это в Калифорнии — ещё свадебное путешествие; там же — на яхте; а это Гарри за штурвалом одномоторного самолёта — Ларка поясняла, что личный. Ульяна повторила дочкину эсэмэску и поймала себя на мысли, что, кажется, хвастает.

Кайя задала дежурный в таких разговорах вопрос: не собирается ли та рожать?

— Когда? — вопросом на вопрос ответила Ульяна. — То на воде, то в воздухе, то... на мустанге...

За внешней иронией сквозила неприкрытая горечь, неизжитая материнская боль. Тут бы ей посочувствовать, успокоить её. И Кайя уже собралась

было это сделать, да балтийскую неторопкость опередила русская кровь, пусть уже и старая.

— Господи! — воскликнула попутчица. — Куда вас всех гонит! Одни в Эмиратах рожают, мамелюков этих... Другие в Англии да в Германии... Дуры дурами! Меня-то ребёнком угнали, в восемь лет, — она отогнула рукав и показала наколку лагерного номера. — Всю кровь выпили, суки! Всего женского лишили... Теперь вот платят — деньгами грехи фатеров замазывают... А вы-то! По своей воле! На чужбине! Тьфу!

Старуха достала фляжку и сделала большой глоток. Лицо её искажилось ещё сильнее. Потом отвернулась к окну и более не проронила ни слова.

## 18

У снов, как у деревьев, есть почва, из которой они растут. Но до чего же причудливы бывают их ветви, а тем паче листья, цветы и плоды — просто уму непостижимо!

Старуха-попутчица Ульяне приснилась. Та самая соотечественница из трансевропейского автобуса с номером-татуировкой Ost-Arbeiten на запястье. Но как приснилась? Добро бы сразу, тотчас по приезде. Это было бы, наверное, логично. Но она объявилась во сне месяца через два после встречи. Впрочем, и это только цветочки, продолжая растительный ряд. Старуха приснилась в причудливой форме, уместнее сказать — жанре. Это был по сути портрет. Не хватало только багетной рамы. Не шелохнувшись, безмолвно, вдобавок не смаргивая, чем напоминала опытную натурщицу, она взирала из глубин сознания. И только глаза, их потаённые отблески выдавали, что это не портрет, а натура.

Ульяна очнулась в липкой испарине. Сердце бухало. Стараясь утишить этот тяжёлый гул, она расслабилась, попыталась переключиться на тени ветвей, которые кольхались по потолку и стенам, в надежде найти какой-нибудь образ. И вдруг ясно осознала, что глаза-то у старухи не свои. Ульяна машинально отёрла лицо, словно снимая паутинку, что налипла в блужданиях меж причудливых деревьев, и этот будничны́й жест мгновенно унёс её в прошлое, уже иное.

Балтика. Она стоит на палубе лайнера и вот точно так же отирает лицо, словно его коснулась паутинка. Откуда здесь, среди моря, может быть паутинка? И только потом, много позже, наконец понимает, что к чему.

Здесь на балтийской линии затонул паром “Эстония”. На нём находился муж Кайи. Тело его не нашли. Всякий раз, проходя эти места, Кайя забивается в угол каюты. Душа её не на месте. Она мечется чайкой по железной клетушке, до того ей хочется соединиться с душой бедного Томаса. Ведь он где-то здесь, совсем рядом...

Кайя, подчас отчаянная болтушка, о самом сокровенном, оказывается, молчала. И если бы не случай, ещё бы, верно, долго таила свою боль. А когда всё же поделилась, Ульяне стало невероятно стыдно. Ведь не она, подруга, расположила Кайю к признанию — случайная коллега-переводчица, оказавшаяся за столом.

Тут бы Ульяне и признаться, что она испытала тогда на палубе. Это было мимолётное, но явственное прикосновение. Может, тем самым облегчила бы свою совесть. А вот не смогла. То ли тот самый стыд помешал? То ли нечто необъяснимое. Убоялась словесной неуклюжести. Не посмела упростить и опростить то, что испытала. Да и что было-то — кто скажет? То ли укор из невидимого мира, то ли побуждения к участию — поди разбери. Может, то старик приводил её в чувство, когда она взирала на небо: о живых надо думать, дочка, о живых... А может быть, и впрямь всего лишь мимолётная паутинка, случайно залетевшая с суши.

Давний стыд обдал Ульяну жаром. Почему её чувства всё время запаздывают? Ведь она не чёрствый по натуре человек. В чём причина этих запозданий? Или всё уже predetermined и заранее отмерено? И чувства, и переживания, и побуждения...

Мысли её снова возвратились ко сну. Ульяна уже поняла, чьи глаза у той старухи, и теперь силилась понять, зачем они явились, те глаза, и что хотят донести. Стыд, который так внезапно навалился, ещё рассеивал внимание. Но одно Ульяна всё-таки уяснила: укора в том немигающем взгляде не было, была печаль — тихая и глубокая кручина.

Ветер за окном усилился. Надо было бы встать и затворить окно. Но Ульяна не шевелилась. Она лежала с открытыми глазами и глядела на стену, по которой комом перекаати-поля металась тень дерева.

В памятное деревенское лето, когда молва об Ульяне Артамоновой как о художнице облетела село, правление колхоза готовилось к юбилею. Председатель артели Бабошин, ветеран войны, специально пришёл к ним домой, чтобы удостовериться в мастерстве землячки. А увидев её работы, которые демонстрировал глава семейства — а папушка не скрывал гордости, — председатель загорелся создать галерею деревенских передовиков. С галереей живописных портретов, понятно дело, ничего не вышло. Слишком мало оставалось времени до пятидесятилетия артели. Так объясняла Ульяна, чтобы скрыть свои опасения, — она была не настолько самонадеянна, чтобы взяться за ответственный заказ. Однако альбом к круглой дате изготовить пообещала.

В колхозном архиве нашёлся пакет с фотографиями. В нём оказались портреты, виды деревенских новостроек — коровников, сепараторной, клуба, а также жанровые и групповые снимки. Их пересылали фотокоры районной и областных газет. Среди прочих снимков особо выделялись работы московской выделки, куда ездили на съезды деревенские ударники.

Особо пристально Ульяна разглядывала фото довоенной поры, пожелтевшие и потрёпанные. Иные из них были подписаны, на оборотах других чаще значилось, что это, например, “звено полеводцов” или “сводная бригада тов. Васильева на сенокосе”. Информация была скудной, её порой не хватало даже для подписей. И тогда Ульяне приходилось обращаться к документам, чтобы уточнить даты, имена-отчества или хотя бы инициалы. А если и в документах не оказывалось более полных сведений, бежала к бабе Паладье, порядовой соседке, их дальней родственнице и самому осведомлённому в деревне человеку.

Приземистая, высохшая, что бывалошный вехоть, как она себя характеризовала, Паладьа была бабеня подвижная и бойкая. Несмотря на большие годы — а венчалась Паладьа ещё перед Первой мировой войной — у неё была отменная память. Она хорошо помнила события самых далёких лет — и ту войну, и интервенцию (“как англичана-те тут кобенились”), и коллективизацию, и новую войну, которая унесла мужа и трёх её сыновей. Только то, что было вчера, старуха напрочь забывала. “Ищи-свищи вчерашние поминки”, — хмыкала она.

Перебирая старые фотографии, Паладьа ткнула в одну из них заскорузлым крючковатым пальцем: “Гли-ко, Улюшка, это ить мати твоя. Ишо в дущках. Ишь, кака баска”.

Перед объективом, когда предстоит групповая съёмка, большинство стремится к центру, чтобы попасть в поле зрения. Встают ярусами, ложатся на пол или на землю, это как уж доведётся. Ну, кто не видел подобных снимков или не участвовал в такой съёмке? Тут было похужее. Бригада человек в тридцать расположилась уступами. Верхний ряд, видимо, стоял на скамейках или, скорее всего, на брёвнах, средний — на земле, а остальные сидели или лежали у их ног. Все сгрудились кучно и даже — по распоряжению, не иначе, фотографа — развернулись вполборота к середине. И только одна девушка стояла обочь, словно сама по себе. В кадр она, вероятно, не попадала. Но фотокор, видимо, что-то приметил в ней и то ли отошёл назад, то ли выпустил из кадра кого-то с другого фланга.

В семейном альбоме фотографий матери почти не было. Только случайные, среди других, прибранные, видимо, рукой отца или Раечки. И ни одного портрета. А тут фото юношеской поры, да к тому же в полный рост.

Ульяна молча глянула на Паладью. Та без слов смекнула, чего от неё ждуть, и принялась вспоминать.

“Мати-то твоя тут уже сиротеей была. Да, деушка... О тридцатом годе церкви почали рушить. Батюшку нашего отца Егория с детушками прогнали. На телегу, бают, да в Сибирь... И стару веру — у нас ить много было таких — тоже... Дед твой, батька-то Пестимей, староста... Да... Его первого с семьёй и увезли. А мати-то твоя — совсем девчурка была — на ту пору болела. Холера ли, тиф ходили... горит, огнём пышет, бедная, без памяти. Куда таку вести. Милицанеры и не взяли. Из бумаги вычеркали. Мол, и так околеет... А она — вишь ты как! — выжила. У золовки моей лежала. Та жоночка сердобольна. Своих-то Господь не дал, вот она и выхаживала... Пришла Пестенька в себя — ни мати, ни тяти, ни дома родного... Порывалась следом, да куда пойдёшь... Так и осталась у золовки заместо дочери. Обходительна, работаща, да всё тишком. Ни словечка ить не обронит. И не пожалится, не поплачется. Будто окаменела. Вот кака мати-то твоя была...”

В колхозном клубе оказалась приличная фотоаппаратура, в том числе трофейный фотоувеличитель — дар кого-то из фронтовиков. Часть фото Ульяна пересняла и увеличила, некоторые фигуры выкадровала и обратила в фотопортреты. Портрет матери она сделала в двух экземплярах: один для альбома, другой для себя.

Уже на чужбине, в Норвегии, перебирая деревенские да студенческие фотки, Ульяна вновь наткнулась на этот портрет. В памяти мать сохранилась зрелой женщиной, а тут, спустя годы, она вновь предстала девчонкой. Ульяна глянула, словно впервые, и оторопела: у пятнадцатилетней матери и того же возраста Лариски было одно и то же лицо. Но особенно это подчёркивал взгляд.

Вот этот взгляд и явился к ней во сне.

## 19

Сын приезжал на побывку не часто — раз в месяц, а то и реже. К тому же ненадолго — на сутки-двое. Да и то время с нею не засиживался, больше на стадионе да в спортзале пропадал, поясняя, что необходимо поддерживать спортивную форму.

Однажды, готовя Сергея в обратную дорогу, Ульяна положила в его ранец томик Кнута Гамсуна.

— Здесь роман “Пан”, — пояснила она. — Место действия — Северная Норвегия, где твоя служба...

Что-то с сыном было не так. Он становился всё более жёстким и даже угрюмым. Возраст? Может быть. Армия? Наверное. Но разве его отца армия ожесточила?

Игорь был сирота, детдомовец, лиха хватил с младенчества, а ведь сердцем не очерствел.

Сергей пошёл явно не в него, это становилось всё очевиднее. Но и не в неё, мать. Тут в чертах, повадках и нраве всё больше проглядывала бабка. Узкое, чуть скуластое лицо, острые глаза, насупленные брови, поперечная складка, твёрдые губы, волевой подбородок — ни дать ни взять Пестимея. Истехонная бабенья, сказали бы в деревне. А уж норовом и подавно: отвергнутый бабкой внук пошёл именно в неё.

— Эту книжку читал твой отец, — добавила Ульяна. — Ему она очень нравилась.

Хотела поделиться, что этот роман если не свёл их, то научил понимать друг друга, но почему-то сдержалась. После решила, в другой раз...

Тот томик — ветхий, с ятями — Игорь получил по случаю. А этот, довольно новый, Ульяна купила в российском консульстве, где была книжная лавочка. Всю обратную дорогу она, не отрываясь, перечитывала роман. Спешные книги мешались с собственной памятью, и трудно было отделить одно от другого.

Курсанты военного училища приходили в их художественное училище на танцы. Игоря она заметила сразу: высокий, стройный, лицо открытое, словно ветром распахнутое, — как было такого не заметить?! Но до чего стеснительный и оттого неуклюжий, неловкий, особенно в танцах. Да и она, тог-

да восемнадцатилетняя девчонка, сельская простушка, была не ахти какая воспитанная и образованная. Да ещё эти порывы: то вспыхнет, загорится вся, то холодом обдаст её, и сама не понимает отчего. Гуляют по улице, идут к Волге, кидают камешки — “блины едят”. Кругом ширь, простор. Закат во всё небо. Привольно и хорошо. Сама не своя, она кидается Игорю на шею, от неизъяснимой радости жмурится, что-то шепчет, потом вдруг отталкивает от себя, бросает какие-то вздорные слова и убегает, оставляя его в недоумении и обиде... Через неделю новая встреча, ей хочется извиниться, приласкать его, а он стоит, как памятник, как — сам потом признавался — штык проглотил. К концу свидания происходит примирение и тут же — новая ссора, а повод — глупость: несовпадение в оценке какого-то фильма... А эта нелепая сцена с патрулём. Ей почему-то втемяшилось, что сейчас Игоря заберут, и она вовлекла его в бегство — в какие-то подворотни и дворы. И только потом дошло, что у него ведь увольнительная... Особенно было беспокойно в лунные ночи, в пору полной луны. Тут она не находила себе места, словно бился в неё морской прибой — то прилив, то отлив, то жар, то холод... А тут ещё Алиска Дворцова, однокурсница. Ей тоже глянулся Игорь, и она то и дело мешалась и ломала их, Ульяны и Игоря, и без того зыбкие и неустойчивые отношения.

Вот тогда и появился тот потрёпанный, ещё дореволюционного издания, томик. Игорь в тот вечер был какой-то особенно тихий и ласковый. “Возьми почитай, только ненадолго... Пару дней. У меня уже требуют...” Она прочитала роман за ночь. Судьба лейтенанта Глана и девушки Эдварды до того разволновала Ульяну, что, как, наверное, тургеневская барышня советской поры, она залила слезами всю подушку.

Лейтенант Глан, живущий в лесной сторожке на скалистом берегу, — охотник и рыбак. Эдварда — дочь лавочника и промышленника. Их пути пересекаются, сердца охвачены огнём, но любовь, возникшая меж ними, сгорает от невыносимого накала, словно вольтова дуга, где два стержня-сердца обугливаются, обращаясь почти в ненависть. Непонимания, несовпадения, обиды. Прилив-отлив. Прилив-отлив. И до разрыва, до погибели...

Кто знает, может, и между ними, Ульяной и Игорем, стряслось бы такое — разрыв и расставание, — если бы не эта история, о которой так удивительно поведал норвежский писатель. Книга стала для них не просто житейским уроком, она обернулась камертоном для их сердец и подлинным оберегом. Они словно повзрослели, одумались, настроились. От этого их обволокло нежностью, радостью долгожданного открытия и непреходящего обретения. Иногда он называл её Эдвардой, но только тогда, когда чуть напрягался, в чём-то хотел убедить, что-то донести, ведь он был старше её и, конечно, умнее, дальновиднее. А она очень часто называла его “лейтенант Глан”, хотя до звания ему ещё оставался целый год.

...Сын вернул книгу спустя три месяца, когда в очередной раз прибыл на бивак. К той поре он перевёлся из норвежской армии в шведскую. Перепрыгнул, как он написал на открытке, через Скандинавские горы и в подтверждение, что ли, выбрал горный пейзаж, снятый с высоты. То ли шутил, то ли и впрямь перепрыгнул. Ульяна уже ничему, кажется, не удивлялась: сын шагал семимильными шагами к какой-то определённой, но, возможно, и ему ещё неизвестной цели.

Книгу он положил на комод возле пейзажа. Ничего не сказал, только прихлопнул ладонью, давая понять, что возвращает.

— Ну и как? — не выдержала Ульяна. Ей хотелось узнать, нет ли у него на примете девушки и как он думает устраивать дальнейшую свою жизнь. Сергей не ответил. Пожал плечами — и всё.

В шведской форме она его уже видела, правда, на фото. Эмблемы на рукаве там не было. Она знала, что он теперь служит в команде горных егерей.

— Что означает эта нашивка?

— “Свободный охотник”.

— Да? — озадаченно протянула она, ожидая пояснений, но он не ответил.

“Лейтенант Глан тоже был охотник, — подумала Ульяна. — Но он был совсем иной по характеру. А что уж говорить о твоём отце, сынок!”

И всё-таки Ульяна ошиблась, вздыхая. Книга та отложились в судьбе её сына. Правда, не так, как ей представлялось. Когда пришло время выбирать псевдоним, Сергей назвался Гланом. Это было уже в Иностранном легионе.

## 20

Кайя давно советовала переселиться в Швецию или Финляндию: теплее, дешевле, ближе к Европе. Ульяна кивала — может быть, — да не спешила. Однако, когда Сергей перевёлся в шведскую армию, собралась в одночасье. Переезд проходил под девизом “Ближе к сыну”. Это был аргумент и для Йона. Уже, кажется, всё для себя решив, Ульяна медлила с окончательным разрывом. И тут она не столько лукавила, сколько, возможно, щадила его: время лечит, даже если это время напрасного ожидания...

На сей раз она поселилась в Хапаранде — небольшом городке на берегу Ботнического залива и реки Торнио. На другом берегу реки, по сути, устья её, находился городок Торнио, это была уже Финляндия. Туда, как и многие, Ульяна ходила за продуктами — там было дешевле, а Ульяну к тому же, а может, и в первую очередь, привлекал финский хлеб — он немного напоминал русский, хоть что-то осталось от имперских традиций. Железная дорога с широкой русской колеёй, протянутая до шведского городка, уже не использовалась, как и русский вокзал, и хлеб здесь был другого замеса, но соседи-финны хлеб творили по русской старинке.

С работой Ульяна особенно не спешила — жила одна, хватало норвежского пособия, которое исправно получала по банковской карте. Сперва обследовала оба городка, их ближние и дальние окрестности. Потом обратилась к историческим и культурным местам. В финском городке заглянула в тамошний музей и выставочную галерею. Ничего интересного для себя не обнаружила. Дизайнерские поделки, вторичная беспредметница, сюр — мрачный и эпигонский — и всё. Русские пейзажи, выставленные на продажу в шведской художественной лавочке, превосходили любую здешнюю картину, потому что за ними была профессиональная школа. Ульяна заметила эти пейзажи издали, но пришла посмотреть дня через три. Среди выставленных в витрине полотен — она это почувствовала на расстоянии — оказались работы земляков. Сердце порывисто забилося. И от пейзажей, родных и далёких, и от имён знакомых даже лица возникли в памяти. Её опахнуло жаром. Она живо отошла и больше сюда не приходила.

Здесьняя публика была не искушена в искусстве, уяснила для себя Ульяна — и даже больше, пожалуй, чем в норвежской провинции. Фетишем был перформанс — этакий коктейль из музыкальных, визуальных и сценических наполнителей. Нечто не очень “съедобное”, зато глубокомысленное — особенно если в среде культуртрегеров или газетных пиарщиков найдётся ушлый толкователь этого коктейля, этакий гуру, который будет поднимать палец и авторитетно произносить всего-навсего один звук: “О!”

Почувствовав конъюнктуру, Ульяна решила попробовать себя в новом жанре. Сделала несколько перформансов и продемонстрировала их в холле местной библиотеки. Одна работа была навеяна поездкой в деревню Воякола. Эта деревня в давние времена была то ли общим новгородско-финским уделом, то ли даже вотчиной новгородского князя: в названии её сохранился русский корень (воя-своя), то есть своя деревня. Ловля лосося тут ведётся по старинке, вероятно, с тех самых “свойственных” пор. Рыбу черпают сачками, виртуозно водя ими между порогов, как половником в кастрюле.

Что же придумала Ульяна? А вот что. Образом реки стала развёрнутая и натянутая парниковая плёнка. Снизу её оживлял ветродуй. Там в прозрачных капсулах бурлили, как пузырьки, белые шарики, низовая подсветка создавала блистание серебристых молний и игру теней. Всё это напоминало ход на нерест красной рыбы. Но торжество песни жизни обрывалось экологической катастрофой, которую олицетворяла острога. Чтобы усилить зрелище,

Ульяна подобрала соответствующую музыку и поставила не что-нибудь, а Вагнера, который гремел в “Aposcalipsis now” — “Валькирии”.

Перформанс Ульяны имел успех, о нём написали не только в городских — с обоих берегов реки — газетах, но и в региональных изданиях. А потом его использовало в качестве заставки для совсем не экологической передачи телевидение Норботтена.

После этого на Ульяну обратили внимание. Пошли заказы. Причём не только на инсталляции и перформансы. Она попробовала себя в драматических опытах. Для одной из таких поставок использовала подвальное помещение культурного центра. Здесь было чисто, прибрано и покрашено. А что привлекло внимание Ульяны — так это переплетения толстых вентиляционных труб, которые вились вдоль лабиринтов и переходов, как доисторические змеи и ящеры. Из этого упорядоченного технологического хаоса явилась картина Вселенной, в которой зарождается новая звезда. Сгусток энергии преодолевает лабиринты вселенского кишечника. Звучит соответствующая авангардная музыка. А всё кончается явлением детей — жёлтых, чёрнокожих, латиносов, одетых в пёстрые одежды. И как финал — Пасхальный гимн.

Что-то, видать, было в фантазийных работах Ульяны, коли стали поступать заказы. Немного помешкав, она открыла небольшое агентство, которое назвала по своей девичьей фамилии, только вычленив её части — “Арт Амон”.

— О-ля-ля! — сказала на это Кайя, наведавшись к ней в гости. — Как говорят у нас в России, — простенько, но со вкусом. — А при слове “Россия” она азартно подмигнула, дескать, знай наших.

## 21

В Данию они с Кайей доехали на автобусе, причём без пересадок: сели в Лулео, где жила Кайя, пересекли всю Швецию с востока на запад, доехали до Мальмё, а там по новому мосту через пролив Эресунн сквозняком пролетели в Датское королевство.

— Зачем едет в Данию обыватель? — философствовала Кайя. — Либо за запретными плодами — здесь ведь нравы вольные, не чета Скандинавии. Либо хотя бы за отметкой в “послужном списке” — дескать, и я там был, гашиш-травку курил... Но! — Кайя подняла палец. — Человек образованный... — тем же пальцем она коснулась своего лба, — человек начитанный... — она торкнула локтем Ульяну, — человек с интеллектом, — Ульяна ответила ей тем же. — Что он ищет в Дании? — Кайя понизила голос до свистящего шёпота. — Тень отца Гамлета...

Всю дорогу до Дании они разыгрывали шекспировские страсти. Ульяна приняла вторую роль — роль Горацио, а первую с видом примы захватила Кайя, она же главная затейница всех розыгрышей. Кайя картинно запахи вала воображаемый гамлетовский плащ; на остановках глубокомысленно морщила своё ребяческое лицо, устремляя взгляд вдаль; а то поднимала какой-нибудь камешек и со словами “Бедный Йорик!” тоже картинно роняла его. “Почти Смоктуновский”, — выходя из роли, заключала Ульяна и тут же почтённо склоняла голову, следуя не столько канону, сколько памяти о фильме.

В замок Эльсинор, точнее, то, что подразумевалось под ним, они попали в пасмурный октябрьский день. Ветер гнал рыжую листву, и она неслась, словно огненный пал, к подножию гранитного замка, грозясь спалить эти древние камни, однако никла, как волна, бессильная одолеть неприступные скалы.

Перед самым замком Кайя снова, раз в четвёртый, повторила то, что взбрело ей в голову ещё на мосту:

*Мимо острова Сальтхольна  
В царство Фели малохольной...*



Произнесла уже без начального восторга, что переименовала Пушкина, а скорее машинально, да, может, и винась, что столь фамильярно обошлась с главной героиней. А уж в самом замке, когда они соединились с группой организованных туристов, попритихла, озираясь по сторонам, а потом и вовсе приткнулась к Ульяне, ухватив её под руку.

Ветер, обуреваемый страстью, но у подножия замка сдерживающийся и притворно покорливый, здесь, в анфиладах и переходах, наполнился такой неистовой силой, что создавал непрерывный гул, схожий с фонограммой фильма Козинцева. Может, режиссёр побывал здесь, готовясь к съёмкам, и сделал этот гул доминантой. А может, он не природный, этот ветер? Разве существует ветер, который ни на миг не стихает? Может, это искусная имитация? Может, в основе его — фонограмма русской экранизации? Или это гул из “Короля Лира”? Нет, он и в “Гамлете”, и в “Лире”. Только в “Лире” его больше...

Кайя многое помнила, даром что о Советском Союзе, в котором родилась, если не язвила, то отзывалась чаще с прохладцей. Однако тут ведь играли прибалты, в том числе актёры-эстонцы, а в “Лире” и на первых ролях.

Они шли следом за гидом, внимая его речи, но понимали не всё: многие слова уносило ветром. В толпе туристов выделялась какая-то странная женщина. Она была облачена в чёрное долгополое одеяние и чёрную шёлковую шаль. Нет, это была не мусульманка. После 11 сентября кругом мерещились шахиды и шахидки. Это была не восточная женщина. Шаль как раз и подчёркивала её белое лицо. Образ из Шекспира? Едва ли. Четыре королевских капитана, мерцавшие тусклыми латами, были прямой цитатой. А она — нет. Находясь в толпе, эта женщина казалась вне её. Вне толпы, вне мира, может, даже не от мира сего, словно воплощённый образ вселенской трагедии, то ли вымышленной, то ли грядущей, то ли явленной сейчас и здесь волей Создателя.

А потом, уже на стенах замка, на открытой галерее случилось и вовсе нечто зловещее. Ветер на миг стих, словно невидимый режиссёр сделал паузу, чтобы безмолвием подчеркнуть дальнейшее. Потом вдруг вновь взвился, заклекотал, будто неведомый орёл, застав всех врасплох, в том числе, видимо, и ту загадочную женщину. Меж тем оказалось, что именно на неё и только на неё он и нацеливал свои незримые когти. Шёлковая шаль, сорванная с её плеч, взметнулась и взвилась в воздух. Новый порыв развернул её во всю длину, и этот свиток, как чёрный смерч, медленно поплыл по галерее, сопровождаемый заворожёнными взглядами.

Это длилось с минуту, не больше, но оцепеневшая толпа не шевелилась и после, когда видение уже исчезло. Даже записные говоруны и всезнайки, прежде галдевшие и снисходительно усмехавшиеся, стояли, не шевелясь, так все были поражены! Кайя с Ульяной переглянулись. Кайя — снизу вверх и не отрываясь от подруги, Ульяна — сверху вниз и не менее озадаченно. Вот тебе и тень отца, словно читалось в их взглядах.

Потом, уже в автобусе, Кайя помаленьку пришла в себя и стала рассуждать, что это было: натура или перформанс? Говорила громче, чем обычно. Но Ульяна не сдерживала её: у неё самой был “отходняк”, только в отличие от Кайи она погружалась в молчание.

А Кайю несло. Она продолжала на все лады гадать, какова природа увиденного. Ей хотелось верить в естественное и природное, которое то и дело смыкается с ирреальным, но, как представитель испорченной западной цивилизации, — она так и сказала, словно студентка Ленинградского университета, сдающая истмат, — не может поверить в натурализм происшедшего и полагает, что тут явно не обошлось без постановки, то есть технических средств и режиссуры.

Ульяне стал надоедать назойливый трёп, в конце концов, она не выдержала и деловым тоном предложила вернуться, чтобы завтра повторить ту экскурсию. При этих словах Кайя вскинулась, метнула на неё испуганный взгляд, крепче ухватилась за локоть Ульяны и прикрыла глаза: судьбу ни к чему испытывать дважды.

Кайя спала, свернувшись клубочком в автобусном кресле, а одной рукой по-прежнему держась за Ульяну. Ульяна же маялась, сон её не брал. Взгляд её блуждал по экрану телевизора, мерцавшему над сиденьями, перетекал на мокрое стекло, за которым в бусоватой мути мелькали огоньки ферм, перелески, фонари городков, остававшихся обочь трассы, и снова возвращался к экрану, где показывали новости.

И вот тут между явью и полузабытьём возникла одна картинка. Увиделось или пригрезилось, Ульяна и сама не могла взять в толк, но в памяти это застряло.

Пески, барханы, клубки перекаати-поля. На переднем плане спина военного в песочного цвета камуфляже. Каска тоже в камуфляжной пестрядине. Автоматическая винтовка на ремне целит туда, где у подножия бархана темнеет наполовину засыпанный песком остов русской боевой машины пехоты; на остатках брони буква кириллицы и выгоревшая до тусклой желтизны эмблема ВДВ. По низу экрана титр: “К востоку от Кабула”. Зной. Безмолвие. Тишина. Возле старого искорёженного железа высится саксаул. Он так же недвижим, как и ржавые ости БМП, как часть этих сухожилий... Но... В глубине остова вдруг мелькает тень. Отточённым движением военный скидывает винтовку, готовый ударить свинцом. Нет, тревога напрасна — это порыв затухающего самума вздыбил султанчик золотого песка, только и всего. Военный медленно опускает винтовку и делает шаг вперёд. Другой порыв завивает песок вокруг светлого армейского ботинка. Ульяна не мигая глядит в спину военного и явственно сознаёт, что это не кто-то, а Сергей, её сын.

## 22

С мёртвыми не поговоришь. Но и с живыми нет общения. “Привет!” — “Привет!” — “Как дела?” — “О’кей! А у тебя?” — “Тип-топ!” — “Ну, будь!” — “Пока!” Вот и весь разговор. А уж на расстоянии и подавно. Одни эсэмэски — корявая интернетно-электронная писанина с нарушением абсолютно всех правил грамматики и пунктуации.

То ли дело было в девятнадцатом веке, когда обменивались длинными обстоятельными эпистолами, изливая чувства и переживания, и этого вполне хватало для сердечной и родственной связи, даром что письма те доходили неделями, а то и месяцами. А что теперь? Время передачи информации уплотнилось до скорости пули, а содержания, тем паче чувства, в этих цидулях — пародиях на эпистолы — ноль целых хрен десятых.

Вот, по сути, в такой переписке была и Ульяна со своей дочерью. Она-то, мать, пыталась достучаться до Лариски, вызвать на разговор, сердце ведь болело: как она там? о чём думает? что чувствует? и что за шаровая молния её шарахнула, что она так всё поломала, переиначила, если не сказать порежила, свою только-только начавшуюся жизнь? В любовь с первого взгляда и вообще в Ларискину любовь после того, что она натворила, Ульяна не верила. Однако внятного ответа даже на прямые вопросы получить не удавалось. Звонки Лариска блокировала. На обширные эсэмэски отвечала коротко: “Всё ок!” или “Нормалёк!”. Единственно, что давало представление о её нынешней жизни, это — фотографии, которые она иногда перекидывала. Вот она с Гарри в открытом джипе. Вот в седле, тут муж у стремена. Вот она на руках у Гарри, обнимает за шею и хохочет. А кругом поля, кони, коровы, ферма под красной черепицей.

Странно, но, глядя на эти сельские американские картинки, Ульяна почему-то успокаивалась: нет, девка не пропащая, перебесится когда-нибудь, если уже не перебесилась. Из таких ручищ — она смотрела на Гарри — едва ли вырвешься. А ещё испытывала смутную зависть. Нет, не по сильной руке. Будет. По коням таким, по коровушкам. Кажется, даже запах молока почувдился — тот, из детства, когда мать отправляла её встречать Пеструнюшку, а потом, присев на низкую скамеечку, омывала тугое вымя, ласково, но уверенно бралась за дойку, и — в дно подойника, цвякая и гремя, ударяли первые струи...

Однажды Ульяна поймала себя на мысли, что всё чаще думает о Родине — и о стране, и своём крае, и о деревне, это ведь всё было неразделимо.

Первый раз ностальгия охватила её внезапно и была как симптом простуды — спазмы в горле и быстрое-быстрое, в течение нескольких секунд, сердцебиение. Она так и восприняла это и, поспешив домой, встала под горячий душ, выпила колдрекс и легла под тёплое одеяло. И только после дошло, что у этой болезни другие истоки.

Она зашла в пригородный лес, чтобы побродить, подышать осенним воздухом, поискать первых багряных листьев. С детства любила бродить по лесу — и по летнему, и по осеннему, и зимой на лыжах... А тут зашла и вдруг почувствовала отчуждение, словно попала в чужой дом. Не лес её отвергал, она его не воспринимала. Даже берёза, родная сестра той, что золотом осыпала парки и крышу отчего дома, показалась чуждой, словно чужбина изменила её природу, как когда-то изменила родной природе она. Так подумала Ульяна. И себя почувствовала такой берёзой, оторванной от родимой почвы. Вот в этот момент и заколотилось сердце, словно птица, захлопав крыльями, и она испуганно схватилась за горло, чтобы удержать его.

С этого началось отторжение. Иным, чем дома, уже казался вкус молока. И вкус хлеба, который здесь несли по русской традиции, вдруг перестал нравиться, и она стала воспринимать его как имитацию. Её стали раздражать здешняя чопорность, безмолвие в автобусах, где каждый сам по себе, и это назойливое напоминание о толерантности и политкорректности, когда важно одно — чтобы на виду всё было пристойно. Раньше она многого не замечала. Дети, муж, семья, круговорот жизни — задумываться об этом, сличать родное со здешним было некогда. А если сравнивалось, то всегда со знаком “плюс” в пользу здешнего. А теперь всё стало меняться.

Стоп, сказала себе Ульяна. Когда это началось? После Ларки, когда она сбежала? Нет. Это началось, когда далеко и неведомо куда уехал Сергей. Проводив его, она не находила себе места. У неё никого тут не осталось. Пыталась уходить в работу — отпускала, но ненадолго. Вот в состоянии неопределённого ожидания известий от сына, в состоянии маяты она и отправилась в пригородный лес, где так внезапно забилось сердце.

## 23

Мир тесен, а пути Господни неисповедимы. И хоть понимаешь это, уже не единожды изведав вековую мудрость, всякий раз, когда житейский прибой сводит тебя с былым, испытываешь если не радость и удивление, то по меньшей мере оторопь.

Как-то в октябре Ульяна отправилась в Германию. Поехала одна — Кайя была занята на литературном семинаре в Оверкаликсе. Да и цель на сей раз была не туристическая, а сугубо деловая. Ульяне предложили оформить одно небольшое издание. Кайя при всяком случае называла для солидности — “книжный проект”. Но на самом деле это была просто брошюра об опыте самоуправления в одной из сельских коммун Норботтена. Тем не менее, Ульяна отнеслась к этой работе вполне серьёзно. И, чтобы освежить навыки оформления, поглядеть новые тенденции в издательском дизайне, она и отправилась во Франкфурт-на-Майне, где как раз открывалась очередная Европейская книжная ярмарка.

Книг, альбомов, брошюр, журналов, проспектов на выставке было полноводье — просто глаза разбегались от пестроты и разнообразия. Перво-наперво Ульяна обследовала скандинавский сектор, поглядев по очереди издания Норвегии, Швеции и Финляндии. Сравнила их с немецкими. У немцев в целом оказалось строже, сдержаннее. Потом не удержалась — свернула к стендам и витринам России. Книжки на русском не то чтобы обрадовали — удивили, до того были яркие и пёстрые, ведь она давно уже не держала в руках отечественных новинок. Авторы оказались совершенно неизвестными. Она пригляделась. Несколько открытых наугад книг внимания не привлекли: что-то либо заумное, донельзя эстетское, либо эстетически не выдержанное, даже неприятно отвращающее, либо мелкотемное, словно перебирание маковых

семечек, либо скудное, убогое по языку. А классики родной тут — увы! — не было: ни Пушкина, ни Толстого, ни Блока... Никого. Только “Мать” Горького обнародовала, да и то на белорусском языке.

После первого приступа книжных редутов, который длился часа два, Ульяна сосредоточилась на прикладных изданиях, зачем и ехала сюда, причём выбрала сельский уклон. Кое-что ей приглянулось. Набрала буклетов, с разрешения служителей снимала некоторые обложки на цифровую камеру, сделала пару-другую тут же возникших в воображении эскизов.

Ноги гудели, в глазах от пестроты красок рябило. Надо было, наконец, передохнуть.

В поисках кафе или пиццерии Ульяна заглянула в раздел сопутствующих товаров, выбирая место потише да поукромнее, и тут в одном из закутков почти глаза в глаза столкнулась — кто бы мог представить! — с... Алисой Дворцовой. Она не обозналась. Это была действительно Алиска. Та самая однокурница, которая четверть века назад покорежила её судьбу. Это Алиска, мечтавшая выскочить замуж за будущего офицера, первая “положила глаз” на Игоря. Это она злилась, что тот потянулся не к ней, а к Ульяне, и делала всякие каверзы, чтобы отбить, помешать их сближению. И это, наконец, Алиска написала своей старшей сестре, которая вышла замуж в их село, что Ульянка Артамонова загуляла, похоже, уже забрюхатела, а та, сорока-трещуха, живо раззвонила по всему селу...

Ульяна не обозналась, нет. Иначе с чего бы та, на кого она наткнулась, в свою очередь, так пристально уставилась на неё. Пауза затягивалась, держала её Ульяна. Шагнуть — не шагнуть, пройти мимо или задержаться — это зависело только от неё. И она перешагнула. И через порожек, и через давнюю боль. Чего теперь-то...

Алиса, прежде полногрудая, щекастая, с годами подувала. Волосы, похоже, не свои — хороший натуральный парик каштанового отлива. Глаза попритухли, вся толерантная и правильная, в соответствии с европейскими установками. Но природный кураж ещё держит.

Они сидели в ближнем — рядом с ярмарочным комплексом — ресторанчике. По случаю неожиданной встречи и в знак мировой Алиса заказала бутылку “Бейлиса”. Выпили, даже чокнулись. Затянулся разговор. Но говорила больше Алиса, ей, видать, это надо было. Курила, меняя сигарету за сигаретой, да говорила.

В Германии она уже десять лет. Вышла замуж. “Мой муж — Mein Mann” — она произносила как маман. Звать Гюнтер. Почти на два десятка старше.

— Но ничего, — Алиска хмыкнула, — ещё карабкается...

По жизни она занималась разным: преподавала в рисовалке, так она назвала die Schule, работала в рекламе, теперь вот третий год в типографии. Рисует по мелочи и, конечно, на компьютере. В основном бирки, ярлыки, ценники, иногда обложки тетрадей или блокнотов. О живописи не вспоминает — кому она нужна? Да и ни тяги, ни времени нет.

— Arbeiten, arbeiten, иначе не будет Brot. А есть-то хотца! — Она скривилась лицом, не иначе изображая побирушку.

Тут раздался звонок.

— Легки на помине, — извлекая мобильник, предположила Алиса. Но звонили не с работы. То был Гюнтер — её “маман”. Ульяна догадалась по тональности — слегка приторной немецкой скороговорке, на которую перешла Алиса. А потом и имя его мелькнуло. А потом и своё имя услышала.

Совсем недавно Ульяне попался норвежский журнал для русских. Одна статья в нём была посвящена интернациональным бракам. По свидетельству социологов, из ста русских жён в Германии только одна назвала свой брак *относительно нормальным*, десять — *с трудом терпимым*, а остальные — *невыносимым*. Неужто Алиска — та единственная?

Разговор с мужем, видимо, взбудрил Алису, приподняв её в собственных глазах. В них появилось заметное самодовольство и даже победительность. Но длилось это недолго. Заговорила о судьбе мужа — и улыбка снова истаяла.

— Гюнтик с сорок четвёртого. Фатер его по ранению оказался в Германии. Здесь, в фатерлянде, спехом женился. Девчонке едва исполнилось восемнадцать. — Алиса коротко взглянула на Ульяну. — Неделю и пожили. И всё. Снова — на фронт, а вскоре — похоронка. Погиб под Ленинградом. Представляешь, Уля, мой папка там воевал. Мой папка вернулся живой, а его... — голос Алисы сорвался, она подавилась всхлипом, — а его фатер...

Ульяну опажнуло жаром, но она обхватила себя за плечи, точно стало зябко. Окрайком сознания мелькнул Пётр Григорьевич: “А кто их звал к нам, этих немчужан?!”

Рука Алисы с зажатым окурком мелко подрагивала, другая, на столе, впиалась в скатерть. Ульяна накрыла её ладонью. И тут Алиса не выдержала, опять всхлинула и заревела. Не громко так, не во всю ширь, как голосят подчас горемычные русские бабы, рассупонившись во хмелю, а сжав зубы, почти безмолвно — тут ведь не принято так выставляться и тем самым нарушать ордуниг.

— Ты прости меня, Улюшка, — тягучее шептала Алиса. — Прости, за-ра-зу. За всё прости. Сволочь я, сволочь...

Пьяноватые, но искренние слёзы текли, не переставая, по её лицу.

— Да будет тебе, — отозвалась Ульяна и вдруг тоже заплакала, не утирая слёз, чтобы не привлекать внимания, только прикрыла навесом ладони глаза.

О чём горевали две русские бабы посреди равнодушной к ним Европы? Об отлетевшей юности, о потерянном и уже невозвратном счастье, о кратком, ровно синичкин посвист, бабьем веке и ещё о чём-то, что словами не выразить, разве слезами излить...

Потом, успокоившись потихоньку, они снова выпили. Алиса досказала историю мужа. Гюнтер — круглый сирота. Мать его погибла в Гамбурге, под бомбёжкой. Родила его и погибла, укрыв собой. С тех пор он не переносит даже шума, не то что грохота, а жить предпочитает в малоэтажных домах. Потому и семьи не заводил, остерегаясь плодить сиротство.

— Но, — тут Алиса усмехнулась и подняла палец, — если бы, говорит, ты встретила раньше, детей мы бы завели.

— Так у тебя нет?..

— Нет, — поджала губы Алиса и салфеткой промокнула размокшую тушь. — Дура была — не завела. А сейчас уже поздно. — Она вяло повела рукой и тут же перевела на другое. — Зато у сестры пятеро. У Зинки-то, — чуть виновато добавила она. — Да лучше бы... — осекла себя, не договорив. — Парни гуляют, пьют. Да какие парни? Мужики уж... Старшему за тридцать. Работы-то нет. В деревне всё разорено, а в лесу — сезонка. Пьют. Батьку не слушают, тот болеет, на инвалидности — лесной на делянке зашибло. А младшая дочка сеструхи сама в подоле притащила, хоть всего семнадцать...

Тут Алиса спохватилась: а твои-то как? Она ведь знала про детей Ульяны. Ещё тогда, дома. От сестры знала, от городских коллег. Ещё не каюсь, но и не злорадствуя, уже ощущая свою вину... А следом и про село спросила: давно ли, дескать, была? Вот тут-то и открылось то, что Ульяна давно для себя отрезала и о чём старалась не думать. Да как ещё открылось! Тем самым боком, который, как подовый камень, всё ещё греет, даром что печь уже остыла. Сестра Раиса — старшая сестра, которая для Ульяны сызмала была заместо матери. Вот о ней-то посередь Германии и получила Ульяна весть.

Алиса время от времени звонила в село, чтобы справиться, получила ли сеструха посылку и что ещё послать. Зинаида, вздыхая, рассказывала о горькой деревенской житухе и между другими новостями — это было недели две назад — сообщила, что Раечку Артамонову отвезли наместни в областную онкологию.

## 24

Тут всё и прорвало, что копила та дамба, которую от веку возводит человеческая гордыня. Ни минуты не мешкая, Ульяна съездила к себе, скидала кое-какие вещи, паспорт российский, к счастью, был в порядке — самолётом до Питера, а оттуда — в свою двинскую вотчину.

Одиннадцать лет она не была на Родине, двадцать с лишним в родной сельщине. От одного этого счёта впору было разрыдаться. Но сейчас такой привилегии у неё не было.

Из аэропорта Ульяна кинулась прямо в онкологический центр, благо он был неподалёку. Сестра, стриженная наголо, была как тень, — узнала её только по глазам, большим да грустным. В тот день Раечку как раз выписывали. Никто здесь и не скрывал, что помирать. Но Раечка почему-то улыбалась. “Домой, Улюшка! Домой!” — твердила она, словно перед ней был не край жизни, а целая вечность.

Дом, который рисовала Ульяне память, который рисовал по её рассказам Пётр Григорьевич, оказался далёко не таким. Он осел, обветшал, крыльцо перекосилось, окна, давно не крашенные, скособочились, половицы в избе скрипели, матица в передней прогнулась.

С горем пополам затопили русскую печь — дрова оказались сырыми. Дождаться, когда она протопится, не стали, разживили плиту, чтобы что-нибудь по-скорому сварить.

Раечка принялась было убираться, да выходило это не очень складно. Сил у неё не оставалось даже для веника. Ульяна отстранила её, подмела и в прихожей, и в кухне, и в передней. Потом взялась за вехоты, помыла полы, сменив не по разу воду. Тем временем Раечка, повязав на голову косынку — “Чтобы не отсвечивать!” — принялась всё-таки готовить.

Привальное они решили отметить в передней — “как бывалоча”. Там заранее затопили голландку. А по случаю встречи — долгожданного праздника — накрыли овальный стол набивной белой скатертью, а из буфета выставили самую хорошую посуду.

На комод потрескивал старый “Рекорд”. Областная телестудия показывала сюжет о нынешнем деревенском житье. Группа женщин, ещё не старых — не обмякших да не усохших, организовала спортивную секцию. Сыновья да дочки-горожахи привезли им велотренажёр, батут, кольца хула-хуп и прочий спортивный инвентарь. “Наводим фигуру”, — слегка вызывающе, чтобы скрыть неловкость, заявила дородная жёнка. А другая добавила, что для тонуса, для снятия стресса — так и сказала — они завели тушканчика и морскую свинку.

— Ишь, чо-ка у нас деется, — кивнула Раечка. — Ране с флягами тренировались да с подойниками... Да кросс на летнюю дойку. А ноне — эва! — херобик у перенимают. Тьфу ты!

Она выключила телевизор и завела радиолу. “Когда б имел златые горы...” — вознёсся голос Руслановой. И этот голос, победительно чарующий, слегка надтреснутый, и звук гармоники почти мгновенно перенесли сестёр в прошлое. И вроде в передней зашуршали плисовые юбки, запозванивали медали, зацокало рюмочное стекло, как бывало это не однажды в осеннее половодье деревенского престольного праздника. Чуть зелена вина да много душевного разговора, ладных дружных песен да тихого, умиротворённого — от окончания летней страды — веселья.

Раечка замуж так и не вышла, прожила, опекая братьев да сестриц. Лучшие годы старшухи пролетели в заботах, домашних да колхозных, а потом и женихов деревенских уже всех разобрали. Сватались залётные, да как-то не сложилось — “металось, да не спилось”, — и прожила всю жизнь безмужней и бездетной. А ведь не из последних в девушках была.

Из буфетного шкафчика сестрица достала бутылку водки — какой-то диковинной, не иначе ещё перестроечной, кою окрестили в народе “коленвалом” или “лигачёвкой”.

— А тебе можно? — озабоченно кивнула Ульяна.

— Мне, Улюшка, теперя-ка всё можно. — Раечка налила полные граменные рюмки. — Со свиданьем, сестрёночка!

Раечка выпила водку, не поморщившись, не закусив. Она лишь обтёрла губы и тихо запела:

*Там вдали за рекой догорали огни...*

Ульяна взяла сестрицу за руку, подивилась, какая она лёгкая, рука у Раечки, горло перехватил спазм, она усилием воли подавила его, придвинулась ближе и подхватила. Так они и допели до конца:

*Ты, конёк вороной, передай, дорогой,  
Что я честно погиб за рабочих.*

Ни единым словом и даже звуком не выдала Раечка своего состояния, тех болей, что крушили её высохшее тело. Только раз не то что попрекнула, а обронила, что в городах-то всё на готовенько, живи себе в удовольствие.

— Ты-то там, в Парижах, — так и сказала. — А мы-ка здесь... Навоз, фляги да силос на вилах...

\* \* \*

В первую ночь в родном доме Ульяна почти не спала. Двадцать с гаком лет не бывала здесь — шутка ли?! — почитай как совсем на новом месте. Какой уж тут сон! Лежала не шевелясь, сомкнув глаза, и прислушивалась. Как суставы ревматика, поскрипывали стропила, бревенчатые связи. Постучивала доска кровли, выбившаяся из-под гнёта прогнувшегося охлупня. Струйки дождя проникали в щели сруба и, казалось, текли по внутренней стороне. А сверчка не было, не стрекотал, — видать, покинул дом, устав напевать в ухо пустоте.

Под утро приснился Ульяне сон. Вроде как из детства, а похоже, и нет. Будто Раечка ведёт её, младшую сестрицу, на реку. На берегу они останавливаются. Раечка приседает, велит ей садиться на закорки. И потом, придерживая меньшую сзади, ступает к урезу. Им надо одолеть омуток и перебраться на песчаную косу — там, в кулижках, на мелководье шныряют серебристые мальки, коих можно иметь подолом. Но вот что странно — омут пуст. Они идут по песку и будто погружаются в песок. Омут не широкий, уже должен быть подъём, а его нет. Зато другой край омута смыкается, будто кто задвигает огромный люк и полоска света всё истончается и истончается.

Ульяна проснулась в испарине. Сердце стучало с переборами. Тихо поднявшись, она обула опорки — обрезки катанцев, накинула на плечи старый вигоновый платок, видать, материнский, и вышла на крыльцо. Светало. От крыльца тянулась золотая от палой листвы дорожка. Вспомнилась другая дорожка — серебряная, это когда она с первенцем на руках шагала по смёрзшей грязи, освещённой полной луной, и роняла в это серебро свои слёзы.

Скрипнула дверь.

— Раечка, — обернулась Ульяна.

— А я слышу — тебя нет. Сплю-то ныне чутко. — Старшуха накинула на плечи младшей одеяло. — Ишь, утренники-то пошли, в лягах — лёд. Стыло. Пошли-ка в избу. Простынешь не то. Слышишь, Улюшка!

\* \* \*

На кладбище сёстры собрались на третий день. Раечка прихватила початую поллитровку, сунула в корзинку обливных пряников — с тем и побрели.

На повороте Ульяна оглянулась. Изба их родовая, с детства памятно наполненная голосами, стояла безмолвная и пустая. Ни души в ней не было. Все, кроме них двоих, перекочевали на погост.

— Во, Улюшка, гляди, — стылым голосом выдавила старшуха, когда сёстры пришли на место. — Семеро по лавкам, не иначе.

Ульяна глянула на череду крестов да пирамидок и окаменела. Сродники выстроились в ряд, как и ушли! Антон, старший брат, погиб на китайской границе. Отец — ему было чуть за шестьдесят — скончался в кардиологии. Геннадий, офицер химзащиты, — через год после Чернобыльской аварии. Сестра Лиза наложила на себя руки, когда в Афгане погиб её единственный сын. Вадима — он был врачом — доставили в цинковом ящике из Чечни. Мать, почти сразу вслед за Вадимом, разбил паралич, отошла, не приходя

в сознание. Олег, Ульяны погодок, спился и околел, уснув под забором возле своего дома.

Вдоль кровного ряда Ульяна шла на подгибающихся ногах. Антона хоронили, когда она была ещё маленькая, но хорошо помнила, как плакал, не скрывая слёз, папушка и супилась мать, кусая угол чёрного гарусного платя. Папушка умер в областной больнице у неё на руках, но на похоронах её не было, он сам об этом просил, скорбя и винясь. А остальные сродники все ушли без неё. Лишь запоздалые вести иногда доходили.

Раечка прошла вдоль могил велед за Ульяной. Касалась рукой крестов да пирамидок и кланялась:

— Братик... Папа... Братик... Сестрица...

Миновав ряд, она шагнула дальше и очертила ребром ладони место:

— Вот сюда...

И медленно подняла взгляд. Он был спокойный и твёрдый.

— ...Ну а дальше, гляди... На деревенском кладбище просторно. Не в городах, чай...

## 25

Раечка легла в то место, которое сама себе и определила. Это произошло как раз на Покров, едва выпал первый снег. Могила — глина да супесь — на фоне белого сеянца выглядела странно, как-то неправдоподобно и неправильно.

Недоумение, возникшее при виде разверстой среди белизны ямы, было привнесено в дом, куда тихой чередой возвратились те, кто провожал Раечку. Помянуть покоенку собрались редкие вообще, а в эту пору особенно, порядковые соседи, Раечкины товарки — бывшие доярки и телятницы да несколько помятых мужиков, коих ещё не доконала палёная водка. Поминальный стол готовила Манефа Гаревских, старшая Раечкина подруга. Конечно, не одна — с помощницами, но заправляла всем именно она — крепкая, осанистая, широкой кости баба. А чтобы всё вышло ладом да по-людски, Ульяна не поскупилась, накупила всего, что водилось в окрестных магазинах.

Поминали покоенку ласково и со слезой, искренне и сердечно. А Манефа даже заголосила по-старинному. Иные заплачки были столь стары по языку, что она прерывалась, спокойным голосом поясняла смысл и опять переходила на причитания. А напоследок пропела-провопела даже своё — так она пояснила:

*Ой, подружия моя ненаглядная,  
Да на кого ты меня спокинула?  
Как мне жить-горевать теперича,  
Сиротиной несчастной маяться?..*

Один из подвыпивших мужиков, видать, проникшись общим духом, решил подхватить заплачку, но за неимением репертуара запел-закукарекал что-то разухабистое, и его без лишних уговоров живо выставили. Выяснилось, что это Манефин доможил — очередной примак. Тут же вспорхнул вопрос:

— А как же ты, Манефушка, теперя без мужика-то? Уйдёт ить...

— А, — отмахнулась плачя. — Надоел дак! Всё равно выганивать собиралась...

\* \* \*

На девятый день грянул мороз. Не дожидаясь никого, Ульяна отправилась на кладбище одна.

Лёгкий снежный саван съединил-выровнял все могилы. Ей неожиданно вспомнилось детство. Так, бывало, они, детвора, лежали впокатку на полатях под одним семейным одеялом. А здесь...

— Одна, — вслух прошептала Ульяна, — совсем одна.



Никто не слышал её. Разве что заречный тягунок, что подпихивал в спину, словно норовя сронить в ряд, да тонкая рябина, что качалась в материнском взголовье. Слёзы размыли всё вокруг — ближние и дальние окрестности, а смерзаясь, замыкали веки. Зарёванная, она смотрела перед собой, ничего не различая. И чувств никаких не было — одна пустота. Ни чувств, ни мыслей, ни желаний... Казалось, если бы заречный ветерок был поупорней, то и добился бы своего, до того ослабла нить её жизни.

А ведь тягунок, похоже, услышал её. И слова её услышал, и даже мысли. Кудьбит через голову — и он очутился спереди, крыло его легко смахнуло слёзы и высушило лицо. И тут до Ульяны наконец дошло. Не пихал он её в ряд. К другому побуждал. И она вяла. Она смиренно склонилась над могилой матери и испросила прощения. За всё, за всё. Тягунок стих, исполненный свершённым. Ульяна выпрямилась. И тут дрогнула рябинка, качнув алой гроздью, словно на неё порхнул невидимо-видимый снегирь. “Ма-ма”, — выдохнула безмолвно Ульяна.

Долго стояла она у родных могил. Глядела вдаль, поднимала глаза к сизому небу, опять оглядывала окрестности, словно давала сродным душам полюбоваться родимым краем с житейского мирского наместа. С кладбищенского увала открывалась половина земли: приглушённая чернота вставшей реки, забелённые порошей песчаные плёсы и заречные пойменные дуга, старая полузатопленная пристань, казённые амбары под берегом, на самом угоре покосившаяся деревянная церковь и прямая, как исписанный карандашик, колокольня, дальше — избы в два ряда, образующие одну — в километр — деревенскую улицу, а на другом краю и ближе к лесу — уже в дымке — скотные дворы, наполовину развороченные...

Глаза художника видят больше. Ульяне здесь и там открывались цветочные пятна: деревня — чёрное серебро, река и окрестности — чистая графика. А ещё проступали акварельные пятна, словно кто-то слегка коснулся кисточкой белого листа: чья-то красная крыша, свежие доски заколоченных окон, пестрядиновые половики на верёвке, покосившийся, но ярко-зелёный забор... И совсем по-простому Ульяна вдруг умилилась: какая же тут ширь, какая мощь и какая красота! Вот в такой красоте и шири до горизонта и жить надо человеку.

Эта мысль, словно чей-то шёпот, донесённый ветерком, метнувшимся над могилами, с тех пор уже не оставляла Ульяну. До того она ходила как тень, жалась к печке, не в силах согреться в родном доме, а после девятого дня, похоже, стала оживать. Место её теперь здесь. Она здесь останется и будет его обустраивать. Возродить деревню, может, не удастся, но отложить смертный час её, она, Ульяна, в силах. Это и будет памятью о родных. А начать это возрождение Ульяна решила с родного дома.

\* \* \*

Она мыла, скребла, протирала и чистила. И не только полы, посуду, утварь, то есть самое привычное, но и стены, и потолки, и мебель. Буквально всё, заглядывая в каждый угол. К любому предмету, к каждой вещи она подходила едва ли не как музейный работник, как исследователь: здесь ли стоит? из “той ли это оперы”? а как это было в её детстве и ещё до того — при пращурах? Мебель, утварь, отцовы ордена и медали, фотографии... — всё подвергалось исторической ревизии и устанавливалось или укладывалось на должное, на “свое” место.

В своей светёлке, настылой и нетопленной, Ульяна прибралась в последнюю очередь. Работала, облачившись в старую шубейку и Раечкины катанцы. Стёрла пыль, вымыла оконце, полы, сменив не одну подогретую воду. После неё здесь никто не обитал. Как притворили, так и не входили уже, не смея ни очистить, ни использовать даже для хозяйственных нужд. Поэтому переставлять тут Ульяне ничего и не понадобилось. У окна стол, рядом мольбертик — папушкино изделие, в простенке узенькая кровать, по стенам репродукции с картин, которые она повесила в том счастливом после второго курса году. Иные из них — против окна — выцвели, а те, что на бокови-

нах, ещё вполне смотрятся — и Дега, и Матисс, и Гоген... Поэтому стены только вымыла. А надумала обновить одним. Именно здесь, в светёлке, о которой она много рассказывала Петру Григорьевичу, Ульяна решила повесить его подарок — портрет дома.

Рамку для работы старик сделал сам, а про подвеску, видать, забыл. Ульяна обычно ставила картину на столик или на комод. А тут надо было её повесить. Прибивая гвоздики, Ульяна обратила внимание на верхний угол. В стыке планок что-то белело. Она взяла гвоздик и это нечто подцепила. Оказалось — клочок бумаги. Сердце почему-то забилося. Она развернула этот сложенный вчетверо листок — он был размером со спичечный коробок — и обомлела. Рукой старика на нём было выведено два слова: “Скорее Фирс”.

— Боже мой! — выдохнула Ульяна, слепо нащупала стул и без сил села. — Сколько же лет прошло! Боже мой!

Она уставилась в окно, которое перед тем тщательно промыла, но ничего за ним не увидела, хотя оно выходило на речной простор.

“Скорее Фирс”. Вариации на темы “Вишнёвого сада”. В чужой стране, как в забитой усадьбе. В чужой земле, среди чужих могил. А эта пауза! Какая невероятно длинная пауза! Ни один театр не выдержит... А нынешнее их бытование — её, Ульяны, и его, Петра Григорьевича... какое-то зазеркалье по отношению к чеховской пьесе: он — там, она — здесь, то есть всё наоборот. И тут же осеклась. Нет, он не там, он выше, он воочию любуется небесными красками.

Поднявшись со стула, Ульяна вернулась к задуманному. Гвоздики были прибиты и согнуты. Привязывая бечёвку, она то и дело косилась на листок. Фирса забыли — и листок не обнаружат... Так он, верно, думал, когда писал свою реплику. В душе Ульяны шевельнулась обида. Но не горькая, а какая-то шемяще грустная, которая плавно перетекла в вину. На исходе жизни Пётр Григорьевич жил одним: её, Ульяны, судьбой. А о нём, старике, они тогда не говорили. Так уж получилось. Она, Ульяна, свою боль сносила к нему. А Петру Григорьевичу не с кем было поделиться... Одно оставалось у него — картины. Ими он и лечил свою болезнь — неизбывную тоску по Родине.

— Ну вот и вернулся, — сказала вслух Ульяна. На душе у неё полегчало. Пусть так, одной неброской работой, старик и впрямь вернулся в Россию, ведь в этом пейзаже, простой русской избе, запечатлелось его состояние, последние токи любящего сердца. А коли так, эта работа, может быть, значительнее, чем многие из этих шедевров, что представлены в репродукциях. И в порыве благодарности и дочерней нежности Ульяна повесила картину Петра Григорьевича на самое видное место. Повесила, окинула её ласковым взглядом и совсем не придавала значения тому, над чьей репродукцией оказалась картина старика, запечатлевшая отчее гнездовье.

## 26

Пришла весна. Зиму, лютую стужу, Ульяна переждала в городе, сняв там квартирёшку. В деревне бывала наездами, когда отпуская мороз, да и то лишь поведать: старый дом — топи не топи — тепла не держит, никаких дров не напасёшься. А по весне, ещё река не стронулась, перебралась уже окончательно и принялась за обустройство. Работала Ульяна и по дому, и в огороде, а ещё в поисках природы бродила по окрестностям. Что искала её душа?

Ульяна задумала оживить пространство, этот земной уголок, где она явилась на свет, одухотворить его художественными средствами. Одной воплотить задуманное было не под силу. Требовались всевозможные умельцы — художники, дизайнеры, модельщики и просто мастера на все руки. Есть крыша над головой, будет стол, пусть и без изысков, но сытный. А что ещё надо творческому человеку, если его не покинуло вдохновение!

Первыми на зов Ульяны прилетели птицы. Загалдели-застрекотали скворцы, обустраниваясь в скворечниках. Едва прошёл ледоход, над Двиной закружились речные чайки, над крутоярами засновали ласточки-береговушки. А потом припожаловали гуси, утки, чирки, кулички...

Ульяна позвонила сыну: приезжай — и отдохнёшь, и поможешь. С дочкой переписывалась, но не приглашала, как и дочка не приглашала её. Впрочем, она бы и не поехала — сдалась ей эта Америка. Да и дочка сюда едва ли поедет. Тут она в неё, мать. Но пригласить-то, чёрт бы её побрал, могла!

На послания Ульяны откликнулись сокурсники — семейная пара с внуком; затем — несколько студентов, парней и девочек, которые были её подопечными в художественной школе, тогда совсем малыши, а ныне старшекурсники. Ещё к художественному табору прибилося несколько мальчишек и девчонок из ближних деревень и, само собой, местные...

Одухотворить окружающее пространство — это задача для художников и дизайнеров. А смысл этого? Конечная цель? К чему же всё-таки вела Ульяна?

Ульяна решила использовать свой немалый творческий опыт — навыки художника, декоратора, галериста, создателя перформансов и инсталляций, чтобы привлечь внимание местных властей, а также партий и общественности. Её не оставляла надежда если не возродить, то хотя бы оживить родную деревню. И первым шагом, как подсказывал тот самый опыт, должна была стать презентация — смотрины её родимого уголка. Вот за этим Ульяна и скликала единомышленников.

Бригада мастеров и подмастерьев, руководимая Ульяной, трудилась дни напролёт, воплощая проекты своей закопёрщицы. К концу июня деревенские окрестности изрядно преобразились. Они напоминали вернисаж под открытым небом или театральные декорации. Из бросовых досок, гипса да мешковины было создано несколько декоративных рам, вроде огромных багетов, в одной из которых — Ульяна высчитала — к первой декаде июля должно было вставать солнце. В другом месте поднялись созданные из реек да светлого пластика дорические колонны — меж ними будет дивно смотреться короткий закат. Старые молочные бидоны, облепленные серебристой фольгой, должны были создать образ молочной реки, играющей под солнцем...

Много чего напридумывала Ульяна, готовя смотрины деревни. Напечатала несколько газетных заметок, разослала персональные приглашения, накануне презентации в особо важные кабинеты сделала серию звонков. Чего она добивалась? Найти поддержку во властных структурах, причём не только района. От властей зависели субсидии, гранты, то есть деньги, а стало быть, и будущность деревни.

Увы и ах, чиновники не приехали — ни областные, ни даже районные. Отозвались художники, слетелись артисты, тещы, музыканты, музейные работники. Собрались земляки, жители окрестных сёл. А власти не удостоили...

Ульяна была огорчена — она так надеялась! — но виду не подавала, занятая разворачивающимся действием. Из себя её вывело другое.

За несколько дней до презентации в окрестностях деревни появился человек, явно нездешний — среди местных и окрестных таковых не было. Он стоял на песчаном, слегка покрытом худородным ивняком островке, каких под деревней к середине лета открывалось несколько. Облачённый в долгий плащ или балахон, он опирался на суковатую палку и неустанно взирал на декоративные приготвления, которые захватили не только деревню, берег, но и песчаную косу, сомкнувшуюся с деревенским берегом. Незнакомец выстаивал в неподвижности весь дневной упряг, не меняя положения, только незаметно поворачивался вслед за солнцем. Весёлые студюзусы предложили вписать это явление в задуманный проект и даже названия стали придумывать: “Погонщик Времени”. — “Было”. — “Погонщик верблюда, который никогда не войдёт в игольное ушко”. — “Длинно”. — “Доктор Чехов на Сахалине”. — “О!” — “Харон среди Леты”. — “Тут что-то есть!” — “Харон, упустивший лодку”. — “Ништяк!” — “Время без Харона”. — “На хрена!” — “Хронос без Харона”. — “Заумь!” — “Харон, утопивший обол”...

За час до полудня, начала презентации, неизвестный в дождевике стоял на том же месте, посреди реки. Ульяне бы отмахнуться, не обращать внимания, а она почему-то озадачилась, а потом и насторожилась. Больше того, её не так огорчило отсутствие чиновников, коих она ждала, сколько раздосадовало, вызвало тревогу, если не смятение, присутствие этого смотрящего на её проект странника. У неё даже сердце закололо.

Удар колокола — знак начала действия — раздался в полдень. Ульяна машинально глянула на реку. Островок, на котором все эти дни стоял неизменный, был пуст. Однако тревога и душевная смута от этого не исчезли.

## 27

Второй раз Ульяна была дальновидней. Она поняла, что такое нынешняя местная власть — администрация и пальцем не пошевелит, если не будет указующего перста или уже твои пальцы не сделают сулящего жеста. На сей раз она решила зайти с тылу. И вот что придумала.

В область зачастили скандинавские делегации — специалисты по местному самоуправлению. Приезжали финны, норвеги, но чаще всего — шведы. Не то их приглашали, не то они сами вызывались, однако цель у всех была одна — поделиться своим богатым хозяйственно-житейским опытом, и прежде всего опытом сельского мироустройства. Они ездили по северным деревням, оценивая условия той или иной местности — пастбища, водные ресурсы, дороги, транспорт... И если условия, на их взгляд, были подходящие, пытались создать там нечто вроде сельской коммуны, занять оставшихся на сее людей овцеводством, сыроделанием, разведением диких животных и особо яйценосных птиц, например, страусов. Такая трудовая деятельность могла приносить доход и закреплять людей в сельской местности. При этом заезжие миссионеры не только помогали советом — для предприимчивых поселян, буде такие ещё не вывелись, правительства тех стран готовы были предоставлять технологии и даже первоначальный капитал.

На один из таких проектов Ульяна и вышла. Это были представители Норботтена, той самой провинции, где она до последнего времени жила. Пригласила наведаться в свою деревню. Приглашение шведы приняли. Договорились о визите в начале августа. К той поре Ульяна планировала расширить оформление окрестностей, а уже созданные объекты обновить.

В июле в деревню из своей неведомой дали приехал сын. Он уже служил в Иностранном легионе. Сергею предстояла какая-то серьёзная командировка, и ему дали две недели отпуска.

Куда лежит его путь, Ульяна выспросить не посмела: сочтёт возможным — сам скажет. Хотела сводить на кладбище — поклониться могилам сродников, да остановил суеверный страх. Вот так и жила, боясь соединять прошлое и настоящее, не говоря уже о будущем.

Сергей доселе на родине матери не бывал, если не считать того дня и ночи в грудном возрасте, когда она принесла его под окна родного дома и получила вместе с сыном от ворот поворот. Потому всё здесь ему было внове и в диковинку, хотя внешне, как всегда, это и не проявлялось.

Сергей вставал на заре, в одних шортах босой носился туда-сюда по росному лугу, бегал по плёсам, делал невыслышимые прыжки, кулбиты, перевороты, растяжки, кидался в реку, нырял, плавал, чуть передохнув, опять бегал, прыгал, боксировал, круша кулаками невидимого противника. Под вечер иногда ходил со спиннингом и пару раз притаскивал крупных щук. А днём Ульяна вовлекала его в свои приготовления.

Перед усадьбой на угоре Сергей сколотил стол и скамейки. Тут можно обедать, а при желании — и рисовать. А ещё предложил поставить навес, чтобы непогода не мешала. Ну а заодно сложил и протенский очаг, натаскав с задов бани старых кирпичей, а из оврага — деревенского карьера — глины. Приедут новые волонтеры, сварят сами, а кухня — вот она.

Глаза и руки сына искали работы. Ульяна попросила его сделать мольберты; но не те, классические на треножниках или подставах, а простейшие: крепкий еловый кол, на нём — прямоугольник фанеры, а на фанере картон или лист ватмана.

— А зачем это? — спросил Сергей, когда сколотил первый такой мольберт. — Если вбить кол даже до половины — до листа и то не всякий дотянется...

— Верно, — кивнула Ульяна. — Но мольберт этот не для людей...

— Для кого же?

— Живописцем будет... — Ульяна сделала почти театральную паузу. — ...будет ветер.

На сей раз Сергей не переспросил, а вскинул брови, дескать, поясни.

— Есть штативы, напоминающие автомобильный “дворник”. Вместо щётки в них крепится маркёр или фломастер или даже несколько карандашей. Двигаться они будут от малейшего порыва ветра. Расставим мольберты по самым открытым местам и — “Извольте, маэстро Аквилон, пожалуйста, мэтр Шелоник!”

Сыну затея матери понравилась. Он изготовил поддожины таких мольбертов и вкопал их в облюбованные ею места. Только хмыкнул напоследок:

— А может, ветер и стрелять научить? Вот так же ствол приладить, и пусть по мановению ветра палит в белый свет, как в копеечку. Авось и попадёт...

Ульяна не ответила, только беспокойно посмотрела на сына. Как он изменился! Ничего ведь не осталось от вихрастого мальчишки, каким она вывезла его с родины. И тут опять зануло в груди: что же она наделала?!

Перед его отъездом, чтобы как-то умягчить сыновье сердце, Ульяна показала фотографии Лариски. Сначала хотела открыть на мониторе — в ноутбуке скопилось множество. Но потом извлекла пачку отпечатанных и отобрала те, на которых, по её представлениям, не было показных взбалмошности, самодовольства и неприкрытого торжества. Сергей просмотрел снимки молча, на лице не отразилось никаких эмоций. Надо же, как он научился владеть собой! Даже по глазам не прочтается!

— Возьми, если хочешь, — предложила Ульяна. — На память...

Сергей вновь взял один снимок. На переднем плане стоял Гарри — муж Лариски. На нём была форма не то шерифа, не то национального гвардейца. Такие фото — в сомбреро и пончо, в рванине пирата или перьях индейца — делают на всех широтах земли, особенно на пляжах. Они вызывают улыбку, у одних снисходительную — чем бы дитя ни тешилось... у других добродушную. Сергей не улыбнулся. Он вытянул снимок на длину правой руки и прищурил левый глаз. Рука при этом не дрожала.

Тут Ульяна уже не мешкала:

— Куда теперь, сынок?

Сергей достал из кармана компактный атлас и раскрыл развёртку Африки.

— Сюда. — Он ткнул пальцем посреди континента.

## 28

Предваряя приезд шведской делегации, в деревню, видимо, по поручению свыше, наведались чиновники из района. Закопёрщицей тут была дородная, неопределённых лет особа, о коих говорят: кровь с молоком. Этак по-свойски, но не нарушая некоей дистанции, она сказала, что хотела бы поделиться недавними впечатлениями. В конце июня она побывала в командировке в Ленинградской области, и ей приглянулась идея “живой деревни”.

— Представляете, — обратилась она к собравшимся в клубе сельчанам. — Одно хозяйство, а в нём несколько звеньев. Приезжают гости. Одно звено пироги печёт и угощает гостей чаем. Другое звено баню топит. На повети рыбацкой избы хозяин с подручными показывают старинные способы ловли...

При этом ораторша кивнула мужику, с нею прибывшему, и тот принялся перечислять снасти и их детали: мерёжа, бредень, кибасы, ботало...

— Вот-вот, — вновь перехватила бразды правления районщица. — И так далее. Правда, интересно?

— Дак чего на пальцах-то показывать! Нать ловить, тогда и смекнут, — встрял подвыпивший мужичок, новый доможил Манефы Гаревских.

— А и то, — тут же согласилась районщица.

— Да, — пробухтел прокуренно другой мужик. — Дадут вам бреднем ловить! Скажите ещё — невод раскинуть... А рыбинспекция!

— Договоримся, — повела могучей рукой чиновница. — Лицензию

оформим на весь сезон. И можем одно звено на реке поставить. Совместная с гостями-туристами ловля, а потом уха...

— Из петуха, — прокукарекал поддатый доможил, но его не удостоили вниманием.

Только Степанида, бывшая доярка, ровня Раечки, отвернувшись на реку, глухо обронила:

— Ране звенья по позням да наволокам. Весной — навоз на поля, летом — сенокос в дальних чищенинах. А теперь, стало быть, пьянь разводить под ушное...

— Во-во! — хмыкнула Катюня, Манефина сестра. — С девахами заезжими...

— Ну, зачем вы так, — с кокетливой укоризной — губки бантиком — сказала чиновница.

— Кто она? — коснулась Ульяна плеча Манефы.

— Да Танкетка, — ответила, не оборачиваясь, Манефа. — Ране в комсомоле руляла. Танька Рукосуева. Из заречья она...

— Каждая ваша изба, — Танкетка пальцем потыкала вокруг, — для приезжего — неведомый мир. Ой... — она припоминала услышанное на стороне слово. — Ойкумена. Предметы быта, утварь, сельхозинвентарь... Вот скажите, у кого есть хомуты, бороны и... что там ещё? Что было век назад?

Ульяна давно устроила на повети целую экспозицию. По одну стену стояли дровни, старые расписные сани, тележные колёса, на вешалах висели хомуты, дуги, упряжь, чересседельник, вожжи... По другую — вилы всякого вида и назначения, грабли, топоры, пилы — лучковые и поперечные. А ещё был рыболовный раздел — сети, мерёжи, камня-грузила, оплетённые берёстой, берестяная же поплавь... Много было всего в Ульянином хозяйстве. Хотела было отозваться, да почему-то смолчала. Что-то не то слышалось в речах заезжей чиновницы.

\* \* \*

Через неделю в деревню пожаловала представительная делегация. Верховодили здесь чины из области, следом шли районщики, а замыкали процессию три шведские дамы, представительницы межправительственного фонда “Меридианы сотрудничества”. Сопровождал иностранок переводчик, крупный румяный и улыбающийся мужчина, русский, выпускник филфака ЛГУ и, как оказалось, едва не сокурсник Кайи. Мир тесен.

Первое слово дали гостям. Дамы говорили о сыроделании, о породах доходных коз, о льноводстве и ткачестве, то есть о многом из того, что испокон веков водилось в русской деревне, да веяниями отошедшего века — увы — повыветрилось. Переводчик, звали его Валерий, доводил выступления подробно, иногда задавал дамам дополнительные вопросы, а затем давал уточнения на русском.

Потом слово молвила Танкетка. Она снова завела речь о “живой деревне”, не чувствуя, что её представления о живом напоминают пьесу, которую предлагала ставить ежедневно вот этим жёнкам да мужикам. Станиславского только не хватало. Усмешливый ропот она не чужала или пропускала мимо ушей. Будет небольшой доход, уверенно твердила Танкетка, — будут и инновации. Это слово она катала на все лады и склоняла его, как ляжет на язык.

Взяла слово и Ульяна. Она с болью говорила о разрухе — истреблены фермы, телятники, запущены поля и дуга. Крутом всё затянуло ивняком. Без помощи, без организации ничего здесь с места не стронуть. Нужны средства. Одним из источников мог бы стать дом художников. Приезжая на пленэр, художники оплачивали бы жильё, стол. Оплата шла бы частично на возрождение села, а ещё они оставляли бы здесь по одной-две своих работы, которые составили бы деревенскую галерею. Ульяна говорила горячо, искренно. Но, глянув по рядам, особого отклика в глазах земляков не заметила. Не было его, того отклика.

Потом от президиума вышел чиновник из областного центра. К трибуне он не пошёл, а встал у края низенькой сцены. Остроносый, сухопарый, то

ли усталый, то ли от природы хмурый, он подводил итог. Помянул все выступления, в том числе и Ульянино, оценив, что тут тоже есть рациональное зерно. При этом поднял палец. Потом заговорил про современный вектор развития села. Говорил, глядя вбок, в окно, за которым блестела река, а руки скрестил внизу, как футболист.

Резолюция сельского схода была длинная, но малопредметная — в духе речей последнего генсека: усилить, ускорить, углубить.

Потом в деревенской столовой, которая давно не работала, но к этому дню её почистили, помыли, был устроен банкет. Его спонсировал местный бизнесмен — владелец сети деревенских продмагов, в своё время отсидевший срок за взлом торговых точек.

Гости пили осторожно, да и то больше моршkovую настоечку, сладенькую до приторности. Переводчик Валера принимал умеренно: у него продолжалась работа. Зато Танкетка и областной чин дорвались. Особенно чин, этот subtilный субъект. Откуда в этом остистом туловище столько прыти взялось. Пил, ел, обнимал жёнок. Сначала своих, потом принялся за шведок. Те ему явно не глянулись: не те округлости — не для горсти, а для щепотки, — а и податливости мало, так и топорщатся, отёсанные топором феминизма. Вернулся к своим.

Он поспевал везде, этот областной аграрий, точно широкозахватный агрегат. В сумрачном уголке умудрился и Ульяну прихватить. Да она окоротила его, дав хорошую затрецину. Чин поморщился, но не обиделся. Только сказал, что она — дура. Это относилось не столько к отказу, сколько к её планам.

— Возродят! С этими? — он презрительно крутанул языком по дёснам, обнажив крупные жёлтые зубы и цвиркнул. — Это же похороны, тяжёлые поминки. — И, словно сам удивившись сказанному, почти всхлипнул. — У-у-уби-ли, суки, деревню! Убили, да ещё измываются! Дескать, вы уж спроворьте, обмойте покоенку, саваном покройте, да покадите, да цветочков в изголовье, да свечечку в оберучие...

Так он говорил, этот областной чиновник. Его, видать, прорвало. И это, осознала Ульяна, были самые честные слова, которые в тот день прозвучали.

## 29

Письма от сына приходили не часто. Начинались они обращением, усвоенным им с детства: в ту пору всюду крутили “Мами-блюз” в исполнении “Бони-М”. А заканчивались одной подписью: Серж Амон. Зато регулярно приходили ээмэски. Тут он подписывался тоже одинаково: лейтенант Глан. А вот обращался всякий раз по-разному: мой генерал, господин колонель, товарищ генералиссимус или мой капрал, понижая или повышая звание, видимо, в соответствии с уровнем настроения. Подробности в этих весточках было не много. Да уже и то отраднo, что приходили. Жив-здоров. Много ли матери надо?

Однажды они встретились с сыном в Израиле. Ульяна вычитала в интернете, что в Хайфе требуется учитель рисования с классическим художественным образованием. Дело было зимой, и она не мешкая заявила. Ответ пришёл живо: русская школа рисования, как и балет, в мире ещё котировались. И тогда она сообщила свои координаты сыну. Впереди три месяца, неужели им не удастся встретиться, находясь на одном континенте?

Эта поездка ознаменовалась тем, что в течение всего учебного семестра её обхаживал один еврей — выходец из России, которого вывезли на историческую родину в юношеском возрасте. Шлёма — так звали его — на третий день признался, что Ульяна — копия его первой любви, оставленной в Витебске. Через неделю он заявил, что Ульяна вновь вернула его в юность. А потом стал молить о взаимности, обещая порвать со всем, что у него сейчас есть, — с семьёй, традициями и обычаями, что она только ни пожелает...

Как потом язвила по этому поводу Кайя! “А крайнюю плоть он не обещал заштопать?” Ещё жёстче оказался Сергей. Дело было в ресторанчике. Шлёма подсел к их столику. Весь в себе, погружённый в свои чувства и пе-

реживания, он совсем не озаботился, как это выглядит. Сергей же воспринял это как бесцеремонность. Зажав меж пальцев одной руки мельхиоровую ложку, он согнул её, а потом точно так же без видимых усилий разогнул. Шлёме этого оказалось достаточно, он всё понял и ретировался. Но Ульяне было жаль его, этого нетипичного еврея, который тосковал не то по первой любви, не то по России, не то по всему вместе, что осталось в юности.

Сергей вырвался со службы на три дня. Они побывали в Иерусалиме, обошли все Места, омылись в Иордане. Это были тихие, покойные дни, которые потом грели сердце.

В последний вечер — снова в Хайфе — они сидели на открытой веранде. Слева от Ульяны синели в дымке невысокие горы, справа — море, а у Сергея — наоборот.

— Не похоже на Норвегию? — не то спросила, не то сказала Ульяна.

В разговорах Сергей был, как всегда, немногословен, а подчас и замкнут, но тут его что-то встрепенуло.

— Ты, мам, там одного не поняла...

У него была привычка, осмысливая что-то про себя, начинать разговор с полуслова, точно предыдущее уже проговорено и собеседнику и так понятно. Иногда Ульяна схватывала всё на лету, с того самого полуслова, а на сей раз замешкалась, потому что предмет разговора остался далеко в прошлом. И всё же после нескольких фраз догадалась, о чём речь: книга Кнута Гамсуна “Пан”, которую она предложила сыну несколько лет назад.

Сергей говорил чётко, предельно лаконично, и было понятно, что этот монолог — не порыв, а нечто давно осмысленное и укоренённое. Влюблённые молодые люди, Глан и Эдварда, совпадая в пространстве, не совпадают во времени. “Счастливые часов не наблюдают”... почему? Потому что в такт бьются их сердца. А тут для счастья не хватает совпадения, словно кто-то не так ставит их часы. Кто же этот настройщик, который расстраивает сердечную механику?

Тут Сергей напомнил один давний разговор, точнее, рассказ её, матери, об его, Сергея, отце — их непростых поначалу отношениях, ссорах и обидах и заключил, что в отличие от книжных персонажей они, его отец и мать, сами настраивали сердца. А потому — тут он сделал паузу и глянул ей в глаза — она, мать, до конца и не поняла той истории.

Ульяна слегка приподняла брови. Ей не понравился этот тон, несколько поучительный, если не сказать менторский. Но не ссориться же было. Проглотив обиду — что с молодости возьмишь! — она даже слегка улыбнулась, тем подбодрив его, дескать, ну-ну?! Да и любопытно было.

Те невидимые часы, расстраивая чувства влюблённых, вертел лавочник, господин Мак, отец Эдварды. В его планы не входила эта любовь: малоимущий лейтенант и его дочь, на его взгляд, не составляли пару. История старая как мир. А в основе её — жажда власти и наживы. Господин Мак искал себе зятя пусть не молодого, но обеспеченного. Только выгодно выдав (точнее продав) замуж дочь, он смог бы расширить торговлю на фактории, укрепить власть в городке и вершить здесь свою волю. Лейтенант заметил, какой он умный, то есть какой коварный, хитрый и опасный человек. Но одолеть эту невидимую, ускользающую, но злую волю не смог. И господин Мак, не испытывая душевного трепета, по сути погубил три человеческие души. Во-первых, Еву, не то дочь, не то жену кузнеца, которая, видимо, была наложницей Мака, но полюбила Глана и тем обрекла себя. Во-вторых, Эдварду, свою дочь, которая по его воле вышла замуж за богатея, а потом слала Глану покаянные, полные мольбы письма. И наконец, лейтенант Глан, который, потеряв любовь, стал искать смерти.

Сергей говорил возбуждённо, да что там возбуждённо — вдохновенно. Таким Ульяна никогда его не видела, даже в детстве. Не случилось ли чего подобного с ним?

Сергей нахмурился, отмахнулся: дескать, если и было, то в прошлом и, словно подсадовав, что мать перебила его, заговорил жёстче и резче, и рассуждал уже не столько о Маке — персонаже книги, сколько о коварной и двойственной природе лавочника. Его предок торговал в храме (Сергей



мотнул головой) и был изгнан оттуда бичом Божиим. Его голос осел до шёпота. Где тот бич? Ведь нынче торгаш захватил всё: власть, земные недра, воды и воздух, жизнь и любовь. Он около храма и в самом храме. Товаром ему служат святые, разменной монетой — совесть и честь.

Глядя на Сергея, Ульяна тихонько вздыхала. Не впервые она сокрушалась, что плохо, совсем плохо знает сына. А оправдание было только одно: он мужает, развивается, это происходит в отлучке. Что тут поделаешь?! Такова жизнь.

### 30

Дочка родила. Ещё вчера, кажется, посылала фотки, где ничем ничего — ни в полный рост, ни боком, а тут вдруг огорошила: родила, да притом двойню. Ульяна терялась в догадках: когда? как? и как тогда понимать те сброшенные по электронке фотки, что Ларка посылала на прошлой неделе? Они старые или дети худосочные, что беременности было не видно? или... она так опять шутит? Была бы рядом — таких вопросов не возникло бы. Или даже далеко, но с живым разговором... через этот сухой телеграфный стиль разве чего поймёшь...

В который уже раз Ульяна едва не запустила мобильник в стену — чёрт бы побрал это изобретение! — да вовремя одумалась: ведь стену-то молчаливая этим снарядом не прошибёшь, хоть и не броня. И в который уже раз, помянув мысленно Петра Григорьевича, сказала себе так: могло быть и хуже, а пока радуйся тому, что есть, может, и такого не будет...

Сдерживая слёзы, Ульяна нашлёпала поздравление, мысленно пожелав, чтобы Лариска никогда не испытала того, что испытала и испытывает её мать. Захотелось узнать, как назвали новорождённых. Эсэмэска пришла тотчас, точно была уже заготовлена: “Мальчика назвали Артур”. Человек сторонний решил бы, что это в честь Овода, героя книги американской писательницы Этель Войнич, или короля Круглого стола... Только не Ульяна. Она-то знала, в честь кого. Это было имя Ларкиного отца, того залётного. “А девочку?” — слегка дрожащим пальцем набрала вопрос Ульяна. Ответа долго не было, словно связь и впрямь переключилась на телеграф. Наконец мобильник отозвался. “Ула”, — читалось на экране. И второй раз: “Ула”. Но приглашения в гости так опять и не последовало.

Весь этот день Ульяна была сама не своя. То садилась к окну и смотрела на заречный лес. То подхватывалась и суетливо металась по избе, словно искала чего-то. Потом вдруг приходила в себя, бралась за мобильник, но, набрав пару цифр, тут же отключалась. То выходила на крыльцо, рассеянно окидывала окрестности, зябко ёжилась, хотя утренники ещё не донимали, и возвращалась в избу.

Хотелось с кем-нибудь посидеть, поделиться своей горькой, как рябина за окном, радостью. Но с кем? К соседке пойти, Манефе, так разговор с нею, пожалуй, не успокоит, а только ещё больше накалит душу. У Манефы какой уж по счёту примак-доможил, зато дети-то справные: сын в городе шоферит, недавно женился, но каждые выходные — к маменьке; дочка — учительница, живёт с семьёй в дальнем леспромхозовском посёлке, но тоже постоянно навещается к матушке, а уж дети, внуки Манефины, всё лето при бабуле... А тут что?!

Ульяна поймала себя на том, что думает совсем по-бабы, и сидит, кручинясь, враскорячку — тоже по-бабы, как сиживали от веку жёнки-горемыки, которых неведомо или ведомо за что наказывала судьба. Тут ей вспомнилась матушка, которая до последнего не отпускала её, ослушницу, от своей юбки. Калила сердце, пальцем грозила, аки боярыня Морозова. Увидев образную связь, Ульяна, бывало, ёрничала по этому поводу, как всякая поперечина. А тут-то, вспомнив, вдруг осеклась. А не узрела ли матушка в старопрежних книгах, что читала затвором в своей келейке, горевой судьбы своей дочери, её грядущего несусветного одиночества! Не потому ли и корила её за ослушание, а мужа — за потачку? Выходит, видела и предвидела то, что стряслось с нею. Дочка за океаном, в чужих людях. А теперь

вот и внуки... Сын неведомо где. Вернее, там, где война. А война теперь повсюду — и там и там, она покосилась на старую — своих ученических времён — карту.

Рука потянулась к мобильнику. Позвонить Серёже или хотя бы передать эсмэску. Мол, поздравляю, ты теперь дядя, причём дважды. Да осеклась. Обрадуется ли этому сын?

Мужская психология, раньше казавшаяся понятной — до чего уж бесхитростен и открыт был папушка! — всё больше ускользала от её понимания. И особенно странно, да и досадно, что это происходило в отношении с сыном, её кровинкой. Сергей не просто менялся, он отчуждался, его потаённая жизнь открывалась только в деталях: новый шрам на предплечье, мажок седины на висках — это в тридцать-то! — и этот вечный прищур левого глаза...

Она не стала звонить сыну — оставила новость до встречи. Может, к той поре Лариска фотки пошлёт, ведь интересно же глянуть на новых кровников: ей — на внуков, ему — на племянников.

Снимки, действительно, пришли. Ульяна воочию, пусть и заочно, увидела своих наследников. Девочка чертами походила на отца, то есть на фермера Гарри. А мальчик был в Ларку, точнее, в её отца, того залётного. У девочки на снимке стояла надпись “Мисс Америка-2030”. А у мальчика — ни много ни мало — “Артур Маккормик — будущий президент Соединённых Штатов”. Амбиции семейства Маккормиков с появлением в их стане Лариски, судя по надписям, возросли многократно. Поэтому Ульяна только усмехнулась. А как, интересно, воспримет это дядя?

Ульяна поджидала Сергея в начале осени — он сам говорил, что после африканской командировки ему посулили отпуск. Однако прошёл сентябрь, минул октябрь, а сына не было. Утешало одно, что регулярно приходили эсмэски: “Жив-здоров” или “Всё о’кей!”.

## 31

В начале зимы Ульяна отправилась на заработки в Скандинавию. Остановилась, как уже случилось, у Кайи — она по-прежнему жила в Лулео. И сразу погрузилась в работу.

Что её потянуло навестить Йона — она и сама толком не знала. Они были уже разведены — это произошло заочно. Каких-то особенно памятных вещей в том доме не осталось. А вещи, пусть и не особо поношенные, не представляли для Ульяны большого интереса: она никогда не была тряпичницей. Просто захотелось провести, конечно, поблагодарить, наверное, попросить прощения. А ещё, пожалуй, показать эти фотографии — две славные мордашки своих внуков. И тем, может быть, смягчить его сердце, чтобы не держал зла. И своё хотя бы немного успокоить.

Увы, картина, которую Ульяна рисовала в воображении, не сложилась. Сердце у потомка викингов оказалось не более защищённым, чем сердце среднестатистического русского мужика — даже и потомка витязей. Годное для битвы, для солёной мужской работы, оно не выдержало семейного разлада. Как у поэта, “любовная лодка разбилась о быт”, так и их Ковчег потерпел крушение, столкнувшись с неведомым вывертом природы, сотворённым хромосомами и обстоятельствами.

Пережить разрыв Йон пытался, но способ для этого выбрал самый базовый, как и тот самый среднестатистический русский мужик. За злоупотребление спиртным поплатился службой. Теперь перебивался случайными заработками. Подрабатывая на фактории, он научился от русских рыбаков нескольким словам. Небритый, опустившийся, Йон продемонстрировал эти знания почти сходу. Причём не просто как набор звуков, а с полным пониманием смысла. Матерщина в России, ставшая, кажется, уже повсеместным звуковым фоном, здесь, в Норвегии, вызвала оторопь. А уж в устах чело века, который ещё недавно в ней, Ульяне, души не чаял...

Что скрывать, была у неё тайная мысль остаться здесь подольше. Раньше она этого сделать не могла — всё было свежо и невыносимо. И когда по-

давала на развод, всё ещё не пришла в себя. Но теперь, когда осталась совсем одна, захотелось что-то исправить, может быть, подлатать тот Ковчег, ведь были же они в нём счастливы.

И вот... встреча. И непотребные слова в лицо. И искривлённые непривычной артикуляцией губы. А она-то строила планы. Горько! До чего же горько! А ещё странно. Ведь ещё не так давно он, Йон, учил её: "Держи горизонт!" Повторял раз за разом, словно заклинал. И думалось, не было сомнения, что сам-то он держит горизонт. А выходит, нет. Или же держал до поры, да не выдержал. Но отчего? Неужели причина — развод? Неужели та формальность подкосила? До той поры была надежда, что она, Ульяна, вернётся, ведь и вещи оставались, и звонила, и разговаривала... А тут, выходит, всё?..

Опоздала. Ульяна почувствовала это с порога. Опять опоздала. Вся отдавшись судьбам непутёвых детей, она упустила из внимания Йона. Йон спас её много лет назад, взяв к себе. Он единственный откликнулся на её объявление, напечатанное в межрегиональной русско-норвежской газете. Не побоился "хвоста", смело протянул руку, открыл свой дом, обогрел, облакал. А она...

Как же затмила глаза та мерзкая сцена. Весь свет, кажется, померк. Упёрлась в эту стену мрака — и всё, словно прежде ничего и не было: ни умиротворения, ни радости, ни счастья. Неблагодарная, бесчувственная, бессердечная — корила себя Ульяна. Изводила и кляла себя самыми распоследними словами, только что не била по щекам, дескать, вот тебе, вот тебе, вот тебе! Но при этом в доме не осталась, не попыталась дождаться утра, напроць забыв русскую поговорку "Утро вечера мудренее". Зато опять вспыхнула. Заслышала ненормативную русскую лексику с норвежским акцентом и вспыхнула, точно доселе знать таковую не доводилось...

## 32

В смятенных чувствах вернулась Ульяна в Лулео. Кайи дома не оказалось. Открыла двери — записка: "Вернусь через день. Надо подменить заболевшего дятла. Чайка". Кайя, как всегда шутила, словно предвидя настроение подруги. Ульяна слабо улыбнулась, отдавая должное. Потом, не раздеваясь, села в кресло и заплакала. Тихо так, поскуливая, словно брошенная Каштанка...

Наплакалась Ульяна, повсхлипывала — и вроде легче стало. Обвела мутным взглядом комнату, собралась уже встать, и тут раздался звонок. После, восстанавливая последовательность тех минут, Ульяна вспомнила, что, прочитав записку, она хотела скинуть пуховик, разуться, затем принять душ, то есть совершить ряд привычных бытовых действий. Однако какая-то неведомая, но настойчивая сила посадила её в кресло, заставив снять напряжение последних суток, а затем во благо отворила слёзные заплоты. Ведь если бы не было этих распускающих закаменевшую душу облегчающих слёз, тот звонок мог и добить её...

...Кайя вернулась вечером. Ульяна сидела в кресле, так и не раздевшись, и не мигая глядела в стену. Приход Кайи она, возможно, отметила, но взгляда от той невидимой точки оторвать не смогла, настолько сильною оказалось ощущение. Что-то стряслось — Кайя смекнула это сразу. Тихонько раздевшись, она подошла к Ульяне, присела на корточки и взяла её за руку. В озябших — с улицы — ладонях рука Ульяны казалась ледяной. Тут главное было не спешить, не паниковать. Кайя поглаживала попеременно руки Ульяны, что-то пришёптывала, меж делом укутала её пледом, даром что Ульяна по-прежнему была одета. Потом разула её, надела на ноги шерстяные чуни — она называла их сибирками, а то декабристскими катанцами. Потом мягко поводила по ушам, по щекам, коснулась лба, словно снимая докучную паутину. И тут Ульяна пошевелилась, наконец-то оторвала свой оцепенелый взгляд от стены и уже осмысленно посмотрела на Кайю. Кайя уже поняла:

— Сергей?

Ульяна кивнула. В глазах её сквозила беда.

\* \* \*

Тот звонок был из штаб-квартиры Иностранного легиона. Мажорный женский голос, последовавший за бравурными позывными, принадлежал пресс-секретарю.

— Я говорю с мадам Ульсен?

— Да, — отозвалась Ульяна. Разговор шёл по-английски. — Что случилось?

— Ничего особенного, мадам Ульсен. Сообщение от господина Глана. Это была проверка линии. Через пять минут мы вновь с вами свяжемся. До скорой связи.

Ульяна недоумённо посмотрела на мобильник. Сказала “до связи”, а сама не отключилась. Уловка? Едва ли. Скорее всего, забылась, отвлечённая кем-то. Ульяна машинально прижала аппарат к уху. Два мужских голоса обсуждали формулировки информации и допустимые её пределы. Ульяна насторожилась, вся уйдя в слух. Речь шла о подразделении, в котором служил сын. Во время патрулирования они попали в засаду. О том успел доложить радист. Потом связь оборвалась, но стрельба ещё доносилась.

— Что с моим сыном? — закричала Ульяна. Вероятно, секретарша заметила свою оплошность и отключилась. Но минуты через две мобильник вновь зазвонил.

— Госпожа Ульсен. Не волнуйтесь. Ситуация под контролем, — затараторила секретарша. — Ваш сын жив. Временно прерывалась связь. Сейчас она восстановлена. Всё в штатном режиме. Всё в порядке. До связи, госпожа Ульсен.

Однако и на этом связь не оборвалась. В трубке раздался мужской голос — говорил один из тех собеседников.

— Госпожа Ульсен, прошу извинить, — он кашлянул, — за... бестактность. Вы вправе иметь полную информацию. Ваш сын жив. В этом можете не сомневаться. Но он находится в плену. Мы прилагаем все усилия для его скорейшего освобождения. Поверьте. Вот то, что возможно сказать на этот час. Ещё раз извините. Всё будет хорошо. Верю и надеюсь. Точнее, надеюсь и верю.

\* \* \*

Ульяна засобиравалась домой. О работе, о заработках не могло быть и речи — всё валилось из рук. Домой! “Хоть на карачках”, — твердил Пётр Григорьевич, вот так и она. Дома и стены помогают, тем паче стены родного дома. А ещё Ульяну слёзно потянуло в родной храм — в тихую русскую церквушку, чтобы там, у икон, вымолить своему чаду пощаду и спасение.

Балтику Ульяна пересекла самолётом, а из Питера отправилась в свою архангельскую сторону поездом. Колёса стучали заунывную песню. Глядя на белые снега, которые рано меркли под декабрьским небом, Ульяна вспоминала минувшее лето, точнее, канун отъезда сына. Он показал карту, а на ней место, куда предстояло ему отправляться. “Надо же! — задавливая страх, отозвалась она. — Это же места, описанные Гумилёвым. Был такой поэт. Дай вспомню...” Ульяна читала на память стихи, медленно перебирая губами строки, а сердце обмирало, и она боялась только одного — лишь бы не разрыдаться. А здесь, в поезде, ей уже не надо было таиться и сдерживаться. Что предчувствовала —стряслось. Она только отвернулась к окну, которое совсем уже померкло, и стала снова вспоминать памятные строфы. Читала теперь про себя, а огоньки за окном вагона всё размывались и размывались, пока совсем не потеряли очертаний.

*Сегодня, я вижу,  
особенно грустен твой взгляд,  
И руки особенно тонки, колени обняв.  
Послушай: далёко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.*

*Ему грациозная стройность и нега дана,  
И шкуру его украшает волшебный узор,  
С которым равняться  
осмелится только луна,  
Дробясь и качаясь на влаге широких озёр.*

*Вдали он подобен  
цветным парусам корабля,  
И бег его плавен,  
как радостный птичий полёт.  
Я знаю, что много  
чудесного видит земля,  
Когда на закате  
он прячется в мраморный грот.*

*Я знаю весёлые сказки  
таинственных стран  
Про чёрную деву,  
про страсть молодого вождя,  
Но ты слишком долго  
вдыхала тяжёлый туман,  
Ты верить не хочешь  
во что-нибудь, кроме дождя.*

*И как я тебе расскажу  
про тропический сад,  
Про стройные пальмы,  
про запах немислимых трав...  
Ты плачешь?  
Послушай... далёко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.*

Ульяна довела стихотворение до конца, словно исполнила некий обет. Но дважды сбивалась на одной и той же строке. Вместо “изысканный” твердила “пленительный” и ничего не могла с собой поделать. Потому что так наставляли колёса:

*пленительный бродит жираф...  
пленительный бродит жираф,  
пленительный бродит...*

### 33

Мобильник тоном перегруженного трансформатора проуркал сообщение. Оно, скорее всего, поступило с номера сына. Однако Ульяна не торопилась его открывать.

Когда такое произошло через день после разговора со штаб-квартирой Иностранного легиона, она аж вскрикнула. “Серёженька! Мальчик мой! Жив!” Сообщение было короткое: “Всё о’кей. Служба идёт. Лейтенант Глан”. Ульяна тотчас связалась с Парижем, дескать, что же вы говорите? Вот же эсэмэска; всё у него в порядке, никаких причин... Увы, её ожидало разочарование. Тот самый военный — полковник Санти — хорошо поставленным и в меру предупредительным голосом объяснил, что в среде их военнослужащих существует правило: отправляясь в командировку, они набирают тексты эсэмэсок, а таймер с заданной периодичностью их “выстреливает”. Вот так, видимо, обстоит дело и с эсэмэсками лейтенанта Глана. Что же касается реальности, то новостей пока нет. Но как только они появятся, штаб-квартира немедленно известит об этом госпожу Ульсен.

Ульяна отрешённо глядела на мобильник. Подсветка давно погасла, но текст читался. И она всё ещё не верила, никак не хотела верить, что это

техническая уловка, что это не сын несколько минут назад набирал текст, а сработал счётчик, который послушно и, точно автомат мороженого, выдал порцию утешения. Отщёлкав череду сообщений, Ульяна стала их последовательно перечитывать, пропуская эзэмэски дочки. И что же оказалось? Тексты сообщений от Сергея варьировались четыре раза и поступали на её мобильник с периодичностью в три дня. Колонель Санти оказался прав.

Странное дело. Сын никогда не лгал. Либо молчал, не выдавая правды, либо выкладывал всё без утайки. А теперь, выходит, слукавил. Лукавство во благо, обман во спасение — так это, кажется, называется.

\* \* \*

Деревня встретила Ульяну снегами и стужей. В избе было стыло, как на улице. Она с трудом разживила печь и так возле заслонки и сидела, подставив огню спину. Её знобило. И от холода знобило, и от бесконечного ожидания. Она никак не могла согреться, сколько ни куталась, ни пила чаю. Лишь к вечеру на печи в овчинных ворохах да уже отдающем печном тепле Ульяна немного оживела.

Вот так же много лет назад она лежала на печи у бабени Паладьи, которая приветила её с грудным Серёжей. Серёжа сопел, не ведая ничего о том мире, в который явился. А она, уже многое изведавшая, тихо и беззвучно плакала.

На просторную — для большой семьи — печь забралась бабенья. Умостив на тёплых камнях старые косточки, Паладья завела разговор. У гостюшки горе: родима мати на порог не пустила. Чем подсобить? Как утешить? То о своей юности, замужестве баяла — там всякое бывало. То о дочках да сыновьях... А напоследок, смекнув, что боль Ульянину снять не удастся, надумала, старая, растворить её в общем котле.

“Эко, деушка, чего творится ноне. И не война, кабыть, а всё будто гражданска... Воюем да воюем... Али порода у нас, у русских, така — всё сердцем, всё нутром?! Калим друг дружку и калим. Всё, вишь, по правде нать, даром что та правда витая да гнутая, что вон батог вересковый... Девка парня не полюбила али, хуже того, разлюбила — он ружьё в рот и пулей-то полголова... Али што страховитей — стрелит под ейным окном, чтобы уж разом и её... Али батька, бывает, — лихоимец, всю родню в кулаке держит, пикнуть никому не даёт... А то — сын наперекор батьке, чуть что — за вожжи, а опосля — и за вилы... Свекрови невестка не пришлась — поедом будет есть... Зятю тётца поперёк — он — на жену с кулаками...”

Бабенья тягуче вздохнула, явственно переживая представленные и, видать, памятные картины.

“Кажись, чего надо! — продолжала она. — Всем ить места хватит. Земля-то вон кака! Отойди — не теснись. Здесь — твоё, здесь — моё, здесь я царую, сюда без приглашения не ходи, но и я не ступлю на твоё. Дак и что? Да в заводе такого нету. Всё боем, всё горячкой... А конец один — али тюрьма, вон на Сахалин ране гонили, — али смерть...”

Старуха поворочалась, не то обминая лежанку, не то дожидаясь отзыва, а потом, словно спохватившись, что в неурочный час нагнала того боле мраку, принялась себя очурывать.

Нет, не везде так. Сохранились ещё остатки добросердечных племён, кои лелеяли свой лад в глубинах тайги, по далёким приемным речушкам, петляющим среди болот да буреломов. Там, в стороне от торных путей, они выныривали свои вековые правила, по которым старому почёт, а молодому планида. И оттого вырастали от веку покладистые да степенные мужики и ласковые да многогородные жёнки. А доброхотство это передавалось из колена в колено, не растрчиваясь. И туда норовили отдать замуж девушек, а то и парня в примак посылали.

Голос Паладьи окрасился ласковыми попевками, будто отведала из родника живой водицы. Да сама же опять и пригасила его. Ведь не осталось, считай, такого доброхотного семени даже и по нашим северным окрайкам. Вымерла реликтовая порода. Одних красным палом сожгли. Других война

скосила. А доконала то древо богоданное, заразив и выточив сердцевину его, угольная шашель, что высеялась из многочисленных лагерных зон...

Напоследок, уже засыпая, Паладьа тихо обронила:

“Ты на мать-то не серчай, Улюшка. Матерь дак... Теперича сама матери... Опосля поймёшь...”

А в утрах, уже на крыльце, подав узелок со снедью, старая Паладьа благословила её:

“Окрести ребятёнка, Улюшка. Как уж там... а окрести. И сама окрестись”.

И ночью, и в утрах Ульяна слушала бабенку, а вроде и не слышала, убитая горем. У неё погиб любимый, отец новорождённого. От неё отвернулась мать, а значит, и вся семья. Сердце плакало от тоски и каменело от обиды. А выходит, всё осталось, сбереглось в памяти и душе, коли сейчас, на печи, она вспомнила то, что слышала тридцать лет назад.

\* \* \*

Известий от сына по-прежнему не было. Сообщения из штаб-квартиры, хотя и регулярные, разнообразием не отличались: “Лейтенант Глан всё ещё в плену”, “Ваш сын жив, госпожа Ульсен, тому есть подтверждения”, “Мы всё держим под контролем, мадам Ульсен”... А эсэмэски “от сына”, поступавшие по воле таймера, взрывались, как бомбы с часовым механизмом. Ульяна их ждала, в ожидании напрягалась, а они всегда достигали врасплох.

Долго не решалась Ульяна сообщить о беде дочери. Остерегалась, что Ларка отзовётся чем-нибудь поспешным, поверхностным, а то и фривольным, едким или пошлым. С неё станется, ведь язык у Ларки без костей: брякнет — не задумается. А зачем ей, матери, такие слова, которые ранят и без того усталое сердце.

Ульяна ошибалась. Неожиданно для себя она получила от дочери поддержку. Сказать, что в той эсэмэске было много сочувствия и сострадания, она не могла. Но текст свидетельствовал о волнении: не два-три слова — целых пять предложений. Такое было впервые. Ульяна исследовала эсэмэску, как врач рассматривает кардиограмму. Она вчитывалась в слова, оценивала их порядок, анализировала, что находится между ними. Первое ощущение её не подвело, потому что следом — не в ответ даже — пришла ещё одна эсэмэска. Дочка сообщала, что ездила в соседний штат, где есть православная церковь, и заказала молебен, естественно, о здравии. Ульяна до того растерялась, что даже не нашлась, что ответить. Отбила, с трудом различая буквы на мобильнике, только два слова: “Спасибо, доченька!”

Сама Ульяна молилась о сыне непрестанно. Она ездила в монастыри — Сийский, а потом дальше — в Веркольский. Обошла все окрестные церкви, где теплился огонёк веры. Не по разу ездила в областной центр, где стояла на службе во всех храмах...

А ещё она стала навещать свою — разорённую и осквернённую деревенскую церковь. Затепливала свечу, раздвигая церковные потёмки, которые отягощали зимний сумрак. Ставила перед собой маленький складень и молилась. А помолвившись, принималась за уборку. Хламу в поруганном храме было немерено. Битый кирпич, обломки и обрезки досок, остатки земли от картофельных клубней, мешковина, куски толя — чего там только не было, чего не скопилось за годы беспамятства. Даже бюст Ленина, покрытый себреином, лежал.

Уборку в храме, как и приборку в доме, Ульяна повела методично. Освобождала один придел, потом другой. При этом не просто вытаскивала мусор и хлам наружу, а сортировала. Кирпичи, которые могли пригодиться, выкладывала возле стены, также отбирала доски. Неожее сносила в яму, где когда-то находился ледник, а горячий хлам складывала в костёр, чтобы потом спалить.

Своей службы Ульяна не оставляла и в самые лютые морозы. Несмотря на стужу, упорно шла в храм. Молилась и работала. Работала и молилась. И так ежедневно.

Ближе к весне, когда маленько потеплело, Ульяна принялась за двери да рамы. Где скобелем, где рубанком, где топором — художник ведь любым инструментом должен владеть, даже если у художника женские руки. А она к тому же — деревенская. Навыки наточенной работы — от папушки, да и материнское наследие в руках не иссякало. Даже стёкла стала вставлять.

Деревня на хлопоты Ульяны глядела молча. При встречах на улице никто из земляков ничего не говорил и не спрашивал. Ну, работает жёнка, убивается, чего скажешь на это, коли охота дак... Но где-то в феврале, когда в былые времена начиналась деревенская страда и перво-наперво крестьяне-колхозники вывозили на поля назём, в церковь пришли Манефа Гаревских и её сестра. Оглядели своды, стены и, особо не спрашивая, сами нашли, что делать. Скоблили стены, убирая непотребные надписи. Потом принялись за полы. Манефа крикнула нового доможила — неказистого, но ухватистого мужичка, — велела ему развести костёр да заварить в молочном бидоне воды. А потом, когда вода поспела, принялась вместе с сестрой скоблить да намывать полы. Вехоть с дрсевой отчищали плахи, как наждачная бумага. А вода в ведре с каждой сменой оставалась всё светлее.

На дым костерка, на голоса у церкви потянулись и другие обитатели деревни, кто ещё не покинул отчину-днину и земной мир. Всем дела хватило. Работали слаженно, дружно и сами себе дивовались. Что-то радостное было в этом труде, как бывало в поры общинной работы — сенокоса ли, уборки урожая. Но и как-то по-особенному, словно намывали ни много ни мало небеса, словно отмывали от вековой грязи мир Божий.

### 34

Ульяна вымолила-таки сына. Вырвала его из беды. Был знак. Однако час встречи затянулся. С последнего свидания минул почти год, прежде чем они увиделись вновь.

Изменился ли сын за эти долгие месяцы? Ульяна вглядывалась в черты родного лица, в глаза сына, примечала жесты, повадки. Но определиться так и не могла. Как будто особых изменений не произошло. Замкнутый, неразговорчивый? Так он всегда был таким. От первого его крика, отчаянного крика новорождённого, до первого слова, им произнесённого, прошло четыре года. Шутка ли! Думала, уж совсем будет немым... То, что на лице его не отражается чувств, так тоже понятно: научился управлять своими эмоциями так, что даже по глазам ничего не прочитаешь. Белые отметины на руках и предплечьях — тоже не внове. Дрогнули её губы уже тогда, когда увидела исполованную белыми шрамами спину. Но и тут взяла себя в руки: это в череде прочего.

В день приезда они сидели с Сергеем за столом. Поглядев в окно, сын кивнул на ближний островок, который её подручные-студенты ещё прошлым летом обратили в подобие лодки: что это? Ульяна проследила за его взглядом:

— Островок-то? Да вроде плавсредства. От алых парусов мои гаврики отказались. Иное поколение. Обратили в лодку. Там и спасательный круг был. Половодьем унесло. Хотели на тех брёвнах написать “Харон”, да я отговорила: слишком мрачно. “Стикс” — обидно для Двины. Назвали “Обол”. Видишь, красным...

— Обол? А что это?

— Монета такая. Кажется, оловянная. Её вкладывали покойнику в рот. Плата Харону за перевоз в царство мёртвых.

Реакция у сына была военной.

— Хм, — отозвался он и метнул взгляд в телевизор. Лакеи из массмедиа там наперегонки вылизывали пучеглазого олигарха: — А этому тоже оловянный, ежели... — Сергей прищёлкнул языком.

Лишних вопросов Ульяна сыну не задавала, он этого не любил, только всё смотрела да украдкой вздыхала. Поразили её его тренировки. Приехал на отдых, а носит как угорелый. Кроссы по просёлочным дорогам проходили вне видимости. О нагрузках свидетельствовали только мокрые майки, шорты да хлопотающие от пота кроссовки. Но заплывы проходили на глазах.



Ульяна не помнила, чтобы кто-то из деревенских мужиков, даже силачей, отважился перемахнуть реку в этих местах. А Сергей умудрялся без передышки сплывать на тот берег и обратно, а иной раз и повторить такой заплыв. Ещё больше поражала его зарядка. Все эти растяжки, шпагаты, перевороты, сальто, которые доступны гибким, “гуттаперчевым”, с детства тренирующимся гимнасткам, казалось, без усилий проделывает и он, уже матерый, тридцатилетний мужик. А прыжки в высоту через щитовой барьер!

— Сколько же это, Серёжа? — Она вскинула руку.

— Немного, ма, — отозвался он.

— И всё-таки?..

— Мировой рекорд двадцатилетней давности.

Для тренировок Сергей использовал всё, что попадалось на глаза. А на повети устроил из подручных средств настоящий тренажёрный зал. Самым опасным и коварным снарядом здесь был “маятник”, как то ли он назвал, то ли она определила. Тележное с железным ободом колесо Сергей привязал к стропилам и, раскачав его, вставал на пути. Да не просто вставал, следя за размахом “маятника”, а при этом делал комплекс упражнений, отклоняясь корпусом влево, вправо и подчас видя приближающийся снаряд лишь боковым зрением. Но самое жуткое наступало тогда, когда он отворачивался спиной и угадывал грядущий удар, который приходился по позвоночнику, в самую последнюю секунду.

Ульяна вскрикнула, тайком наблюдая за этими истязаниями, а после, не выдержав, упрекнула.

— Не смотри, — был ответ. А потом, уже за столом, объяснил: — Когда без тебя, я ведь это делаю. Это надо, мам. Если бы я не делал этого, не владел бы так телом, разве бежал бы из плена, из того каменного мешка, будь он неладен! — И, помешкав, добавил: — Может, этого как раз не хватало отцу...

Он не был бесчувственным, её сын. Но жизнь его по какой-то странной планиде теперь была подчинена войне, где не допускалось места чувствам. Во имя чего шла та война? Что он отстаивал на том поединке? Добро? Но разве может быть добро в чистом виде, если война идёт на чужой территории? Разные племена, разные традиции — они и сами подчас не могут объяснить, в чём корень их противоречий. А тут ещё сторонние интересы, борьба за недра — за нефть, за алмазы... Нет там чистой правды, сынок. Это вот дед твой воевал за правое дело — Родину защищал. А ты-то кого?

Ульяна подумала, но не сказала, не посмела сказать. Однако решительно повела сына на родовые могилы. Рассказала о всех кровниках. Строго и просто. Особо, конечно, о деде-солдате, своём папушке. Ей было важно это. А сыну? Видимого отзыва в лице Сергея она не заметила, словно ничего не связывало его с этими крестами и памятниками. И тут она не могла оправдать его даже тем, что он всегда такой — замкнутый и отстранённый.

Возвращались с кладбища молча. Ульяна сокрушалась, но виду старалась не показывать и волю слезам дала только в своей горенке. Она мысленно корила сына, упрекала за бессердечность, равнодушие. Таким ли был его отец! И вдруг осеклась. А на каких дрожжах он вырос, её сын? Разве не война стала его люлькой? Да что люлькой! Война свила гнездо в её утробе, на его детском месте. Даже, может быть, в миг зачатия. Игорь был ещё с нею, был в ней, а уже шёл приказ о его отправке — направлении в погибательную даль.

...Дни отпуска пролетели мигом. Казалось, только что встретились, обнялись, а надо уже расставаться. Ульяна была сама не своя. Не успела наглядеться, толком поговорить. Где уж тут понять что-то... И всё-таки перемены в сыне не ускользнули от её сердца. Сергей стал ещё суровей. Может, поэтому она остереглась позвать его в церковь, которую обустроивала. Убоялась его холодности и, как следствие, — своего сокрушения. Потом-то она жалела об этом и каялась. “Как же так, Ульяна, — корила она себя. — Здесь, под этим сводом, ты молила за сына, к Богу взывала, а сына в Божью обитель не привела?!” Зато снова обратила его к своим художественным затеям — перформансам и инсталляциям. Два года назад она бы не нарадовалась, что сын помогает обустраивать деревенское пространство, сколачивая

планшеты, щиты, каркасы. А нынче испытывала какую-то смуту. Поначалу думалось, что это от жалости, чувства вины: сынок, мальчик её настрадался, а она — со своими нуждами. Но после смекнула, что причина, скорее, не в нём, а в ней. Ведь того первоначального задора и вдохновения, с коими она приступила к художественному преобразению деревни, в ней уже не было. Да и сын явно подостыл к этим затеям. Нет, просьбы матери он выполнял: что-то сколачивал, строгал, вбивал. Однако “без энтузиазма”, как сам признался. Мало того, затею с оживлением деревни он назвал утопией. А потом и затею, и всё, что уже сотворено, оценил ещё жёстче — “мартышкин труд”. Ульяна не перечила. “Мартышкин труд” — это все её усилия, все мечты и упования. Может быть. Но ведь вышло, что надежды нет и для окружающего — ближнего и дальнего. Значит, всё, что ни делается, — пустое дело? Всё — “мартышкин труд”? Да, без пощады рубил Сергей. И всё, что в стране — происходило и происходит, — тоже.

— Открой глаза, мам, — показал он на телевизор, шли новости из Москвы. — Где тут делатели? Где тут власть? Вот этот? Или вот этот? Полно! А эти картинки об успехах? О нано и модерне? О-на-ни-зм! Ты же художник, мам. Разве ты не видишь, что всё вылизано языком подхалимов, лгунов и прохвостов? Не жизнь, а имитация, сплошная и многослойная лакировка действительности.

Ульяна была удручена и соображала плохо. Про картину мира, нарисованную сыном, она ещё помнила. А вот то, что он сказал о какой-то картинке из её галереи, в памяти не отложилось. Ни в памяти, ни в сердце...

## 35

Сын был во многом прав. Ульяна и сама кое-что стала понимать. Это началось с пьяных, но честных слов областного чиновника. Продолжилось оценкой соседа-доможила — тот бросил ехидную фразу: “Турусы на колёсах”, имея в виду телегу с парусами, что входила составной частью в её экспозицию. А завершилось всё сыновним приговором.

Ульяна мысленно соглашалась, что все эти паруса, даже и алые, не приносят ожидаемого — возрождения родной деревни. Жизнь — не сказка, это факт. Но ведь и без сказки в жизни нельзя. Она была убеждена в этом. Иначе разве могла бы считать себя художником?

Не оставляя своих художественных упражнений, Ульяна всё больше сил отдавала восстановлению церкви. Здесь, особенно в погожую пору, она пропадала дни напролёт. Трудилась много и, казалось, без устали. И сама себе удивлялась, как полётно ей работается.

После церковного упряга Ульяна выходила на утор и с тихой радостью окидывала взглядом открывающиеся во все концы дали. Чего тут не хватало? Живности. Всё чаще она стала задумываться, что не инсталляции да перформансы могут по-настоящему украсить живописные луга, а живые коровушки. Так, как было в её детстве.

Жёнки-доярки, пусть уже в годах, как Манефа, или её, Ульяны, ровня, ещё оставались в деревне, стало быть, сбереглись и навыки. Нужна была база, то есть ферма. Коровники, строившиеся из силикатного кирпича, огромные, мощные, были разрушены, частью свезены проворными людишками для своих нужд, частью прибраны соседним совхозом-техникумом. Восстановить их было невозможно, да и бессмысленно. Ульяна подумывала о лёгком утеплённом дворе, в котором стояло бы десятка два холмогорок. На первое время достаточно. Но где на этот коровник сыскать деньги? Взять кредит? А что положить в залог? Родительский дом? Так он не покроет того кредита. Занять частным образом? А вдруг прогоришь? А не вернёшь — долговая тюрьма. Одолжить у детей? Тоже не выход. Как и что объяснишь дочери, коли связь только эсэмэсками? А просить у сына — и вовсе страшно. Это ведь деньги, заработанные на войне, на чьей-то, возможно, — она боялась даже думать — крови...

Оставалось одно — живопись, искусство, её художественные навыки. Скопить на вернисажах, которые ей устраивала в Скандинавии верная по-

друга Кайя, да на перформансах, заявки на которые по-прежнему поступали на электронный адрес агентства “Арт Амон”, — вот тот путь, который определяла Ульяне жизнь.

\* \* \*

Очередная поездка в Скандинавию затянулась почти на три месяца. Ульяна устала, вымоталась, но была довольна — удалось хорошо заработать. До заветного ангара — скотного двора доставало совсем немного. Но в конце августа она внезапно свернула все дела и махнула домой.

Что же сорвало Ульяну? Отчего так спешно она покинула Скандинавию? Из Норвегии пришла страшная весть. Некий Андрес Брейвик расстрелял из автомата почти восемьдесят человек. Случилось это на острове Утойя, где когда-то она, Йон и дети отдыхали в кемпинге. Мало того, убийца оказался ровесником сына. Холодом опахнуло Ульяну. В состоянии тревоги, каких-то смутных предчувствий и опасений возвращалась она домой. Почему-то не радовали даже заработанные деньги, которые сулили скорые перемены. А приехала в деревню — и батюшки цветы! — не узнала её.

Под берегом стояли мощные катера и баржи. На угорах, в проулках, за околицей — всевозможная техника: тяжёлые джипы, огромные фуры для перевозки габаритных грузов, тягачи, трелёвщики — чего тут только не было. Правда, порядок держался армейский, не абы как, а в линейчку, если стояло две-три машины. А ещё пестрели камуфляжем просторные армейские палатки. А ещё — по мачте поняла — передвижная армейская радиостанция.

Вся эта картина вызывала оторопь и опаску. Деревенские на улицу не казали носа. Кольхнулась тревожно занавеска на окне Манефы — знать, смотрела, а выходить не решалась. Зато повсюду ходили уверенно-озабоченные чужие люди. Облачённые в полувоенный камуфляж без погон, в импортной выделки охотничьи костюмы, холёные, крупные, решительные, они напоминали пришельцев — десантников с НЛО.

Возле родительской избы стоял чёрный джип. На него Ульяна глянула мельком: кроме недоумённого отращения, эта каракатица ничего не вызывала. Зато издали обратила внимание на крыльцо. На верёвке висела одёжка. Футболка цвета хаки, обычного армейского цвета, ни о чём не говорила — таких много. Но вот ветровка была наособицу: украшенная народными африканскими узорами, она явно принадлежала Сергею, он в такой приезжал прошлым летом после плена. И уже не мешкая, Ульяна устремилась к дверям.

Сын сидел в передней вместе с двумя незнакомцами, облачёнными тоже в хаки. Они смотрели в ноутбук, что-то обсуждали, делали пометки на какой-то схеме. При появлении Ульяны Сергей поднялся.

— О, мам!

Следом поднялись его напарники. Отрекомендовавшись, они обменялись с Сергеем взглядами и удалились. Мать с сыном обнялись. Взгляды их — его несколько возбуждённый деловой и её тревожный — пересеклись.

— Что это, Серёжа? — опасливо спросила она и повела рукой, имея в виду и избу, и его окружение, и всю деревню, уставленную техникой.

— О, мам, — пропел и почти увлёк её в танец сын: — О, мам-блюз, о, мам-блюз...

Таким она никогда его не видела. Ей бы радоваться — в кои-то веки сын улыбнулся и даже всхохотнул, — но она ещё больше озадачилась и вопрос повторила.

— Всё тип-топ, мам! Всё тип-топ! — отшутился Сергей, от него пахло спиртным. — Перформанс, какой тебе и не снился! Ты знаешь, какие тут люди! Э-э! Тут вся Москва и Европа в придачу. Или наоборот? — последнее он кинул своему приятелю, заскочившему за забытым беретом. — Впрочем, кому как нравятся. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Верно?

Глаза острые, ноздри раздуваются. Мужик мужиком. А давно ли, кажется, сидел на коленях? Давно ли словечка не мог вымолвить? И радостно это, и грустно. И ещё почему-то тревожно. Что он затеял, Сергей?

Ульяна принялась распаковывать вещи, но неожиданно бросила, услышав рёв автомобиля, и вышла на крыльцо. Сергей, перекрывая шум движения, переговаривался с одним из своих компаньонов. Речь шла о какой-то конструкции, которая требует дополнительного крепежа. Ульяна дождалась, когда тот уйдёт, и спросила сына, что они делают. Это же её деревня. Она здесь родилась. Здесь её дом. Кому же, как не ей, знать, что тут готовится.

— Хорошо, мам, — ответил Сергей. — Вот там, — он показал на зады, в сторону лесной опушки, — будет экран во всё небо. На экране изображение. А слева будет воспроизведение того изображения. Живое. Зримая песня, так сказать. Что ты, мам! Это будет грандиозно! Не зря же съехались все тужи. Все, мам! Тут ведь такие есть. — Он повёл подбородком, точно уже не хватало рук.

— Но кто это разрешил, кто позволил? — Ульяна не могла ничего понять и пыталась добиться какой-нибудь ясности.

Сергей усмехнулся, ткнул пальцем на зады дома. Там в крапиве лежал какой-то человек. Ульяна только сейчас его заметила. Явно пьяный, измазанный в зеленях, заблёванный — она не сразу признала в этом куле того сухопарого областного чиновника, который характерным скрещиванием рук напоминал футболиста... Сейчас его руки были безжизненно раскиданы, а сам он походил на живой труп.

— Мам, мы это всё купили.

— Кто мы?

— Мы — это я и мои единомышленники, партнёры по бизнесу. Документы без сучка, без задоринки. Вот она может подтвердить. — Сергей показал пальцем на фигуру в камуфляже. Ульяна с трудом узнала в ней Танкетку, районную, комсомольского разлива, чиновницу. Ишь, как расфуфырилась, теперь и впрямь как танкетка: грудь что пулемётные пушеры, задница как переполненные бензобаки, а рука кренделем, и на гаке этом, как на буксире, висит какой-то засезжий, тоже в камуфляже.

Ульяна вернулась в избу. Стала собирать на стол. Сына покормить, да и самой с дороги не мешало перекусить. Но опять всё оставила, вытерла руки, скинула фартук, набросила на плечи неприметную куртку и задом вышла из дома.

Она двинулась к брезентовому ангару, который стоял на отшибе. Почему-то именно это не очень видное среди обилия яркой техники сооружение притянуло её с самого начала. Шла осторожно, прикрываясь кустарником, складками луговины, точно не дома, точно в чужой стране. Опасения её оказались не напрасны. У дверей ангара — они смотрели на лес — топтался охранник. Оружия, похоже, при нём не было. Но глаза вострил, уши были на макушке — и приглядывался, и прислушивался, обходя ангар по периметру. Ульяна, прикивая к земле, подобралась к сооружению сбоку. Брезентовая оболочка состыкована была крепко, но в одном месте на самом низу ткань оказалась надорвана, видно, её чем-то зацепили. Ульяна осторожно отогнула уголок. В лицо пахнуло животинной. Она прикинула к отверстию глазом. В ангаре горел свет, кто-то там ходил, стучал каблуками. Глаз обтерпелся. Не каблуками, поняла Ульяна — копытами. Вдоль стен и посередине стояли вольеры, а в них — господи ты, боже мой! — чего-то тревожно ожидали антилопы, зебры и — что самое диковинное — жирафы. Ей не помешалось — посередине ангара, под гребень крыши были поставлены жирафы. Тут донеслось покашливание, охранник, видать, на ходу закурил и сейчас должен был появиться из-за ближнего угла. Ульяна шмыгнула в кусты, подождала, пока караульщик не скроется из глаз, и, приседая, бочком-бочком поспешила обратной дорогой.

*“Вдали он подобен цветным парусам корабля...”* Строчка вертелась нетоптуно, словно колёса поезда. Ульяна вернулась к дому. Вечерело. Воздух посвежел, загустел. Она села на крыльцо. И вдруг ясно представила прошлое. Вот здесь, на этих ступенях, тридцать с лишним лет назад она сидела возле папушки, тихо поглаживала его раненое плечо, спину, а он что-то говорил — со слезой, стоном и кашлем рассказывал. Что он рассказывал? Что вспоминал? Свой последний бой. Это было в Германии, в предместьях како-

го-то большого города возле... зоосада. Всё кругом горело. И к вольерам подбирался огонь. Животные и звери, мечась по тесным клетушкам, выли, кричали, визжали и плакали. И среди них жирафы. Шеи длинные, глаза, точно блюдца, а из них — слёзы. Папушка, тогда рядовой Трофим Артамонов, хотел помочь — мўкой сердечной было для него видеть погибающую животину, словно родная коровушка пропадала среди других. А как ведь иначе деревенскому человеку? Сам погибай, а кормилицу выручай, коли в беду попала. Сунулся Трофим Артамонов к вольерам, а оттуда — снайпер...

Ульяна зашла в избу. Сергей сидел возле ноутбука, что-то печатал или искал. На кромке стола стояла чашка, из которой он то и дело прихлёбывал. Ульяна подошла и молча на него уставилась. Он не сразу оторвался от занятия и поднял голову. Взгляды их встретились, он понял застывший в глазах матери вопрос.

— Это деньги, мам. Большие деньги. Там, — он похлопал себя по спине, напоминая о шрамах на собственной шкуре, — я этого не заработаю. А здесь... Один час — и куча денег... Мы тут всё отстроим, мам. Всё. И ферму, и школу, и детсад. И церковь выстроим. Для этого надо выместить тех футболистов, — он мотнул головой, имея в виду чиновника местного, — всю эту футбольскую команду, всю снизу до верха по всей вертикали. Всех до единого. Но прежде, мам, — он поднял указательный палец и завершил тираду свистящим шёпотом, — их надо подоить...

Ульяну знобило, полная смятения, она поднялась в свою горенку. Присела возле темнеющего окна. С улицы доносились резкие голоса, чужой, нездешний смех. Из утробы зверообразного джипа раздался тяжёлый рок — музон для людей с тяжёлыми комплексами. Ульяна задернула занавеску, включила свет. Взгляд её потянулся к картине Петра Григорьевича. Она как-то потускнела, померкла, словно подёрнулась болезненной дымкой, пеплом. С чего бы? Взгляд Ульяны скользнул ниже. Там темнело пятно. На этом месте висела репродукция, а теперь темнел прямоугольник невыцветших обоев. А где же картинка? Сергей! Да, прошлым летом он мимоходом обмолвился, что взял какую-то картинку. Что же тут висело? Она обежала взглядом репродукции и вспомнила: Дали. Это была репродукция с картины Сальвадора Дали, и называлась она "Горящие жирафы". Ульяна похолодела. Она повесила работу Петра Григорьевича — портрет родного дома — над этой репродукцией? Собственными руками повесила? Не может быть! И сама же себя осадила: может, Ульяна! Всё так и было: и репродукция, привезённая много лет назад в родной дом; и папушка при виде неё, скорчившийся от боли; и портрет дома, повешенный как раз над "Горящими жирафами"...

Стало совсем зябко и муторно. Кутаясь в шаль, старую вигоневую материнскую шаль, Ульяна вышла из избы. Гремела канонада хеви-метал. Почудилась война. Опять вспомнился папушка.

Ульяна вышла за калитку. На пути к ангару она обратила внимание на палатку, от которой приторно пахло. Сейчас она устремилась туда. Палатка стояла на остатках фундамента молочного склада. Сюда в детстве Ульяна сносила излишки молока. Пеструнюшка обильно доила. Теперь пришельцы устроили здесь склад ГСМ. Ульяна отогнула полог и включила фонарик. На бочках красным по жёлтому полыхнула надпись. Это был авиационный бензин.